

For presentation purposes only

~~~~~  
**letterra.org\_051+**  
~~~~~

SLOWAR: СЛОВАРЬ ВОЙНЫ IX/X. СИНОПСИС

SloWar: Словарь войны IX/X. Синописис

(версия.02)

М.: издательство «Логос» (Москва),

проект letterra.org, 2014. – 144 стр.

Редакторская подготовка – издательство «Логос» (Москва),

проект letterra.org (К. Голубович (captions), Е. Громова,

О. Никифоров (общая редакция), Н. Митрофанов)

Тексты представленные в настоящем издании, если дополнительно не указывается иное, публикуются в соответствии с лицензией Creative Commons *Attribution-ShareAlike 3.0 Unported* (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)



Конференции SloWar: «Словарь войны IX/X» были подготовлены и проведены в рамках осуществления проекта :

Institution Building Partnership Programme (IBPP):
Support to EU–Russia Cultural Cooperation Initiatives
№2008/155-921

и при финансовой поддержке Института имени Гёте – Немецкого культурного центра

ISBN 978-5-8163-0088-9 (серия letterra.org: 051+)

Содержание

«Словарь войны//SloWar (Moscow_MMIX)»	
БЛИЦКРИГ	9
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА	15
КЛОУН (на войне)	21
КРУГ ВОЙНЫ	27
ЛИКИ УЖАСА	34
НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ	41
ООН: УСЛОВИЯ МИРА	46
РАДИКАЛЬНОЕ УПРОЩЕНИЕ	52
«Словарь войны//SloWar (Moscow_MMIX)»	61
РЕЗЮМЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ	67
<i>Приложение</i>	
МИР И ВОЙНА	125
ПОГОДА	137

0. Дата

«Короткий XX век» начался в июле/августе 1914 г. I-й Мировой войной, продолжился в сентябре 1939 г. II-й Мировой войной, подошел к своему формальному завершению в ноябре 1989 г. с падением Берлинской стены и «окончанием холодной войны». На Московской сессии проекта «SloWar: Словарь войны»¹, проведенной в Москве 31.08-01.09/2009 в канун 95-70-20-летия этих событий, был продолжен ряд сингулярных попыток конципирования множественности значений «войны» *исходя из– и в* открытой перспективе опыта «XXI века».

1. Проект

“По крайней мере, создавая понятия, мы что-то делаем.” В истоках идеи СЛОВАРЯ ВОЙНЫ находится теория создания концептов, предложенная Делезом и Гваттари: работа понимания реальности собственно осуществляется лишь через личностное изобретение, производство понятий, конфигурирующих плотные массивы природы и истории в множественные единицы смысла.

СЛОВАРЬ ВОЙНЫ – это платформа гуманитарного сотрудничества, ориентированная на переосмысление понятийного аппарата для описания «состояний войны» как состояния самого человечества (и каждого из его представителей); это создание (или новообретение) ключевых понятий и форм опыта, играющих важную роль, незаслуженно забытых или еще должных быть изобретенными для развития диалога/дискуссии по проблемам «войны и мира» как первичным для любых сред человеческой выразительности (будь то экономика или политика, наука или искусство). Темой здесь является не подборка дефиниций, анекдотов, оригинальных мнений или предложение развлечения, но именно разработка инструментария для обретения новых идей. Словами Клейста: “вовлечь себя в речь и произвести для мира нечто непостижимое.”

На начало 2009 года состоялось 8 двухдневных сессий проекта «Dictionary of War»ⁱⁱ (в городах Frankfurt, München, Graz, Berlin, Novi Sad, Gwangju (Korea), Bolzano, Taipei), на которых было представлено около 200 презентаций концептов и свидетельств по проблематике войны, реализованных учеными, художниками, теоретиками и активистами из разных стран. Двухдневное событие проекта «SloWar: Словарь войны (Москва 31.08-01.09/2009)» с его 29 презентациями далее развивает открытую платформу творческого взаимодействия, предложенную в 2006 г. первыми 4 сессиями «Dictionary of War».

i См. полную видеодокументацию проекта на сайте <http://slowar.tv>

ii См. материалы проекта <http://dictionaryofwar.org>

2. Презентация

В отношении формата презентаций СЛОВАРЯ ВОЙНЫ ограничений не существует. Это может быть доклад, свидетельство, танец, фильм, слайд-шоу, поэтическое чтение или любая другая форма выразительности «концептуального персонажа». На презентацию каждого понятия выделяется 20 минут, которые могут быть использованы презентующим по своему усмотрению. Каждая сессия включает в себя как минимум 25 таких презентаций. Формулирование или выбор представляемого концепта, его содержания и формата презентации – компетенция приглашенного «концептуального персонажа». Концепты представляются в течение 2 рабочих дней сессии, приблизительная длительность «рабочего дня» – 7-8 часов.

«*Slo War: Словарь войны*» (Москва, ГЦСИ)ⁱ

Концепты, представленные 31.08.2009:

- 14.30 **АРЕНА: БИТВА УМОВ**
Карстен Винд МЕЙХОФФ (издатель: Дания)
- 13.00 **БЛИЦКРИГ**
Фридрих Адольф КИТТЛЕР (медиа-философ: Германия)
- 13.30 **БОЛЬ. ПАМЯТЬ. ПАМЯТКА**
Зоя ЕРОШОК (журналист: Россия)
- 14.00 **«ВОЙНА И МИР В ТЕРМИНАХ И ОПРЕДЕЛЕНИЯХ»**
Дмитрий ЛОСКУТОВ (дипломат: Россия/Брюссель)
- 14.30 **ВОЙНА ОБРАЗОВ**
Сотириос Бахсетис (художник, активист: Греция)
- 15.00 **ВОЙНА: ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЛЕННЫХ**
Вячеслав ИЗМАЙЛОВ (военный журналист: Россия)
- 15.30 **ВОЙНЫ, ВОЛНЫ, ВЛАСТЕЛИНЫ**
Владимир ВЕЛЬМИНСКИЙ (медиа-теоретик: Россия/Германия)
- 16.00 **ГАРМОНИЯ (ВОЕННАЯ ПЕСНЬ)**
Юки ХИГАШИНО (художник-перформансист: Япония/Франкфурт)
- 16.30 **ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА**
Валерией ПОДОРОГА (философ: Россия)
- 17.00 **ИНТЕРПРЕТАЦИЯ**
Олег НИКИШИН (фотограф: Россия)
- 18.00 **ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА**
Кристофер ВАХТЕР (художник), Матиас ЮД (ученый) (Швейцария/Берлин)
- 18.30 **КЛОУН (на войне)**
Лео БАССИ (клоун: Италия/Испания)

ⁱ Аннотации презентаций и библиографические справки см. на сайте <http://slowar.tv>

19.00 КРУГ ВОЙНЫ

Аркадий БАБЧЕНКО (журналист, писатель: Россия)

19.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Олег АРОНСОН (философ: Россия)

20.00 КОРПОРАЦИИ

Узочкву НДУКА (бизнесмен, переговорщик: Нигерия)

20.30 КОШАЧЬЯ НОТАЦИЯ

Юлия СТРАУСОВА (художник: Германия)

Концепты, представленные 01.09.2009:

12.00 ЛИКИ УЖАСА

Энтони БИВОР (историк, писатель: Великобритания)

12.30 ОБРАЗ ВРАГА

Любовь ВИНОГРАДОВА (исследователь: Россия)

13.00 ООН: УСЛОВИЯ МИРА

Владимир ПЕТРОВСКИЙ (дипломат: Россия)

13.30 ОТКАЗ

Роман ШМИДТ (исследователь, издатель: Германия/Париж)

14.00 ПОДВИГ

Борис ЛЕОНОВ (историк литературы: Россия)

14.30 ПРЕДОК

Николай ПЛУЖНИКОВ (этнограф: Россия)

15.00 «СЕРЖАНТ КОСОВ: МИРОТВОРЕЦ»

Герман Виноградов (художник-перформансист: Россия)

15.30 РАДИКАЛЬНОЕ УПРОЩЕНИЕ

Андрей ТКАЧЕНКО (психиатр: Россия)

16.00 «СНАЙПЕР»

Якоб БЁСКОВ (художник: Дания/Нью-Йорк)

16.30 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Антон ИВАНОВ (конфликтолог: Россия)

17.00 УРОВЕНЬ РАССЕЙВАНИЯ. ПЕПЕЛ

Илья Плеханов (издатель: Россия)

17.30 ФИНАНСОВАЯ ВОЙНА

Сигурдур ИНГОЛЬФСОН (риск-менеджер: Исландия)

18.00 ЧАСТНАЯ ВОЙНА

Обрад САВИЧ (философ, исследователь: Сербия/Великобритания)

18.30 ШАЛАМОВ: ВОЙНА/ЛАГЕРЬ

Михаил РЫКЛИН (философ, публицист: Россия)

БЛИЦКРИГ

Фридрих Адольф КИТТЛЕР

Дамы, милые дамы и господа. Я меньше подготовлен к своему выступлению чем те, кто представлял меня в короткой предварительной справке. Сначала я расскажу немного о себе, потом поговорю о Блицкриге. Этот немецкий термин, кажется, непереводим – по крайней мере на экране за мной написано «Блицкриг», то есть дана русская транскрипция немецкого слова.

*Я услышал танки, я услышал
Как хвалились генералы
Начался Блицкриг
И завоняли трупы.*

Это «Роллинг Стоунз» и вы видите, здесь это тоже не переводится. Я родился в тот день, когда...

Или нет, начнем иначе.

Сегодня – важный для меня день. Я впервые в Москве и благодарю всех, кто сделал это возможным. Мой тесть в декабре 1941 года был тяжело ранен под Можайском в пятидесяти километрах к западу от Москвы...

Но начнем с меня, и с тех отношений, которые могли и могут завязаться между немцами и русскими, русскими и немцами. Я родился в тот день, когда американская армия и флот высадились на первом маленьком островке Лампедуза неподалеку от Сицилии. Моя мать против воли моего отца решила окрестить меня Фридрихом в честь своего младшего брата, воевавшего тогда – в 1943 году – в ранге капитана легкой артиллерии в Группе армий Юг, продвигавшейся к Кавказу. Мать не без основания боялась, что брат ее сгинет на войне, и тогда семье понадобится еще один Фридрих. Позвольте представить вам меня и моего отца – на фотографии на экране.* А это мы троим – мать, отец и я. Все эти фотографии находятся у меня дома в альбоме. А вот моя мать и ее младший брат в военной форме. В последний раз он держал меня на руках летом 1944 года. Потом он исчез и в 1951 году мы узнали, что он погиб русским военнопленным. Еще позже я узнал, что девственность свою дядя потерял в объятиях прекрасной юной украинки по имени Мария, из любви к которой он даже купил русско-немецкий/немецко-

БЛИЦКРИГ	9
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА	15
КЛОУН (на войне)	21
КРУГ ВОЙНЫ	27
ЛИКИ УЖАСА	34
НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ	41
ООН: УСЛОВИЯ МИРА	46
РАДИКАЛЬНОЕ УПРОЩЕНИЕ	52

русский словарь. Он хотел с ней не только спать, но и говорить. Словарь, который он приобрел, книга удивительная. И самым удивительным в ней является огромное приложение, содержащее все ключевые термины сталинского СССР. Они собраны вместе для того, чтобы немецкие офицеры могли понимать термины и аббревиатуры (что такое, например, НКВД), каковые не только приводились, но и объяснялись в словаре. Это настоящий словарь боевого офицера на марше, как можно понять по его плачевному состоянию.

Когда в сентябре 1944 года Группа армий Юг вынуждена была отступить в Румынию, а румынские дивизии перешли на сторону Красной Армии, то немецкие части все попали в плен. Дядя мой был легко ранен. Однако не получая медицинской помощи, он умер из-за потери крови. Это случилось где-то за Уралом.

Мой тесть, о котором я уже упоминал, по профессии был врачом. И по несчастливому стечению обстоятельств он был вынужден в течение десяти месяцев служить врачом в концентрационном лагере в Бухенвальде. Став свидетелем творившихся там ужасов, он решил, что предпочитает быть убитым, чем убивать. Он оставил СС, чтобы вступить в ряды *Waffen SS*, то есть военных частей СС. Семья была поражена его решением скорее умереть, чем убивать. И как я сказал, под Можайском он и закончил свою «русскую компанию». И этот конец русской компании моего тестя совпал с концом Блицкрига как такового. Мистическая сила православия сделала так, что *Iosif Vissarionovitch Sralin* после двух или трех недель молчания решил отказаться от формулы традиционного ленинского обращения к русскому и русскоязычному населению «*tovarisch*» и заменил его классическим церковным обращением «*bratja i sestri*». Это завоевало ему поддержку «Родины», что является непереводаемым русским термином, обозначающим «Материнство», и «Родную землю». Привычный нам немецкий перевод «Большой народной войны» как *Grosse Vaterlandische Krieg* – великая *отечественная* война – неточен, он не касается самой сути. Суть скорее выражается через *Grosse Mutterlandische Krieg* – Великая *материнская* война – как можно увидеть по памятнику в Трептов-парке в Берлине.

Мартин ван Кревелд – военный историк, живущий в Израиле – рассказал нам, что немецкий блицкриг 1941 года предполагал господство дорог и автострад. Поскольку шло танковое наступление. И это дорожное, автострадное наступление

не смогло учесть глубин русской Родины, – то есть глубины лесов, и железных дорог, идущих через леса, и партизанских отрядов, действовавших в глубине этих лесов и возле этих железных дорог. И хотя немцы и заявляли, что проводят тот же самый Блицкриг, на самом деле всякий блицкриг здесь был обречен.

Обречен... для меня, совсем маленького мальчика, это значило, что я буду изучать один за другим те сладостные языки, что оккупировали Германию после войны. Сначала это был русский. Который я выучил в пять лет. Затем мне пришлось забыть свой русский и приняться за французский и английский – именно в таком порядке. И когда однажды меня спросили, на каких языках я говорю и почему говорю на этих и только на этих, а не на других, я ответил, что был завоеван *этими* языками и *этими* армиями и поэтому я не могу говорить ни на каких других – допустим, на итальянском.

Если оккупирован значит «завоеван», «захвачен», «потрясен» и наконец «влюблен», то именно – «*ja ljubju tebj*» – последняя формула или предложение, которое мое сердце хранит для моих русских оккупантов. Я не думаю, что противоположность Войны – это Мир. Мои последние книги стараются показать, что противоположность Войны это Любовь. И именно потому, что между Россией и Германией никогда не было Блицкрига, а шла тяжелая, жестокая, непрерывная четырехлетняя Война, мы с тех пор – *по крайней мере* с тех пор – так глубоко влюблены друг в друга. И люди, и страны. (Хотя мой ученик, Владимир Вельминский, и утверждает, что мы влюблены друг в друга со времен Леонарда Эйлера и Петербургской академии*.)

Итак, во второй части давайте поговорим о Блицкриге как таковом. Как я уже где-то говорил, если не считать нападения Джорджа Буша-младшего на Ирак, в истории существует только один, или полтора случая Блицкрига. Половина из этого полуторного Блицкрига – 1939 год, немецкая армия против армии польской. Но единственный цельный Блицкриг – это блицкриг мая 1940 года – Вермахт против франко-британских союзных сил в Северной Франции.

Я не верю в интерпретацию, данную Адольфом Гитлером знаменитому высказыванию Гераклита *Война – отец всех вещей*.* С другой стороны, я согласен с Гераклитом, когда он говорит, что *Blitz* – Молния – зачинает все бытие и весь космос. Эта идея войны как *Молнии* состоит в том, что с одной стороны, нужно победить врага, а с другой – избежать распоряжений

собственного генштаба, двигаясь быстрее, чем основная армия, и чем приказы, ожидающие от тебя своего исполнения.

В 1919 году Германии было разрешено иметь лишь очень небольшую армию численностью в 100 000 человек. Ей не было позволено иметь большие корабли, тяжелую артиллерию и, прежде всего, ей запретили танки. Но в 1920-е годы Рейхсвер, а в 1930-е годы Вермахт (новое именование для высшей военной ставки) сумели выстроить особые отношения с Лениным и с его преемником и получить три испытательных полигона – один из них под Казанью, – чтобы испытывать свои запрещенные танки и самолеты. Вот почему, когда русские и немецкие войска встретились в сентябре 1939 года у реки Гул посредине Польши, они ощущали себя коллегами по оружию, весьма хорошо друг с другом знакомыми. При встрече в глазах у них стояли слезы.

В дополнение к этому эпизоду, и в его углубление, позвольте мне привести одну историю, которую записал Курцио Малапарте, опубликовав ее в книге, изданной под его немецким именем.* (Книга вышла с предисловием знаменитого немецкого поэта Петера Хандке). Согласно Малапарте, русские и немцы встретились тогда, как трудовая команда, как «товарищи». Как сказал 1 мая 1945 последний начальник немецкого Генерального Штаба маршалу Красной Армии Чуйкову в Берлине в момент капитуляции – и, между прочим, на беглом русском: «Вы знаете, дорогой маршал, Германия и Россия – единственные государства, которые отмечают день трудящихся, 1 мая». Чуйков в ответ промолчал. Его не тронули эти слова – по крайней мере, так он говорит в своих мемуарах. Так вот, история, которую рассказывает Малапарте, и которую я бы хотел рассказать, следующая. Немецкая танковая дивизия захватила в плен много русских, таких же танкистов. И эти пленные танкисты были в каком-то смысле свободны. Для них были разведены костры, приготовлена пища, они сидели у огня и ели. И вот один молодой русский капитан, сидевший у огня, увидел при дрожащем свете техническую неполадку на одном из танковых колес. Он увидел это и увидел, что один немецкий офицер видит, что он видит, и – вот ему велели ее починить. И русский пожалел о том, что увидел эту неполадку, потому что он выдал себя и обнаружил к тому же перед врагом еще и высокую эффективность русской военной машины.

Но теперь перейдем к настоящему Блицкригу. Франция к тому времени была истощена, и во многом в своей защите по-

лагалась на густо укрепленную линию фортификационных сооружений – так называемую Линию Мажино. Она готовилась выдержать генеральное наступление в духе августа 1914 года. Это же с самого начала планировало и немецкое командование. Но блестящий молодой офицер – тогда еще молодой офицер, а позже знаменитый фельдмаршал Эрих фон Манштайн – решил устроить нечто совершенно неожиданное для британско-французских вражеских войск. Он решил не заходить с правого фланга, а врезаться прямо между франко-британским головным соединением в Бельгии и остальной страной. Это оказалось возможным, благодаря почти совершенной французской системе автострад, которая сделала Блицкриг менее проблематичным во Франции, чем в случае наступления в России. Пробег от немецких границ до Атлантики занял у Гудериана и фон Лееба и других генералов лишь около двух недель. Иногда они шли на двести километров впереди тяжелой артиллерии и пехоты. Именно по этой причине для проведения Блицкрига тяжелая и медленная наземная артиллерия была заменена примитивными, но действенными и ужасными пикирующими бомбардировщиками – *Sturzkampfbomber*, которые могли двигаться с той же скоростью, что и танки. Существует легенда, которую часто встречаешь в книгах по истории и научных работах, что у французов было меньше танков и меньше самолетов, чем у немцев, и так далее. Отчасти это правда. Но решающим отличием, мне кажется, было использование телекоммуникации. И вот тут-то весьма полезной оказывается моя профессия – профессия медиа-историка, медиа-философа.

И у немцев и у французов танки были оснащены системами интеркома. Но французский главнокомандующий Морис Гюстав Гамелен, сидя в своем прославленном шато, никогда не пользовался системами интеркома, а предпочитал старомодный телефон, и его не интересовало, что только три его танковые дивизии используют возможности своей интерком-системы. С другой же стороны, генерал Гейнц Гудериан после битвы при Моме в 1914 году был страшно заинтересован в военном телефоне, телеграфе, и в радио и так далее...

Существует довольно впечатляющая история происхождения системы высокочастотных гражданских радиоточек. Она была разработана исключительно для танковой системы интеркома в начале 1934 года. Ее испытывали в высокогорном районе Германии, в Харце, проверяя, может ли УКВ – устройство

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Валерий Подорога

Моя тема заявлена как *гражданская война*, но я, скорее, сделаю попытку построить что-то вроде антропологии войны, именно гражданской войны. Тема гражданской войны сложнейшая и, в то же время, всем известная, очевидная; в этой области существует такое количество материалов; такое количество экспертов, историков, философов, социологов, психоаналитиков и т. д. так или иначе соприкасались с ней. Моя же задача сужается буквально до, своего рода, эксперимента в области антропологии гражданской войны. Это значит, что я собираюсь исследовать некие особые отношения, возникающие в рамках того человеческого опыта, который называется *гражданская война*. И, прежде всего, это антропология внутреннего врага.

Тема внутреннего врага является антропологически заданной как безусловная матрица для понимания гражданской войны. Сюда входят отношения внутреннего врага и внешней силы, отношения «свой – чужой», «друг – враг» и т. д. – целый комплекс таких очень нагруженных культурных и политических оппозиций. Моя задача – в какой-то мере приблизиться к пониманию того, что собой представляет внутренний враг. Не рассматривая современных форм гражданской войны и ограничившись такими классическими, архетипическими тотальными формами, как нацизм и сталинизм, которые мы сегодня сопрягаем вместе, мы отыскиваем две очевидные, давно обсуждаемые и подуманные её формы (я имею в виду, опять же, только антропологический аспект).

Внутренний враг, характерный для нацистского режима, как вы знаете, формировался вокруг понятия «евреи». «Евреи» – это такая пустая антропологическая форма, которая заполняется любым содержанием нацистской идеологии. И долгое время, собственно, эта формула «евреи» не являлась именем персонажа, а являлась широко обоснованной формой такого внутреннего врага, который эксплицировался в качестве начала и опыта гражданской войны. Далее, этот опыт Гражданской войны распространялся на весь мир. Потому что всякая Гражданская война – то есть война, где форма гражданского напряжения реализуется через фигуру внутреннего врага, – в дальнейшем переходит

по созданию высокочастотных волн – огибать горный рельеф. Высокочастотные волны понадобились тогда военным, потому что у них была та же идея, что у интернета и мобильной связи сегодня – им нужно было столько же частот, сколько и танков в батальоне и в дивизии. С каждым танком должно было быть свое индивидуальное сообщение. И должно было быть столько же частот, сколько и танков, что невозможно в случае низких и средних частот.

Результаты этой блестящей работы были продемонстрированы во Франции и, например, в Киеве в августе 1941 года, когда два немецких танковых соединения – танковое соединение Гудериана с нарисованной на танках огромной буквой *G*, и танковое соединение фон Клюге с буквой *K* такого же размера, – вырвавшись на четыреста километров вперед пехоты и артиллерии, встретились в районе украинского городка, кажется, Кременчуга, и, не узнав своих, начали стрелять друг в друга. Именно тогда маршал Буденный – ваш маршал с большими усами – против воли, наконец, вынужден был признать, что танки сменили лошадей.

Позвольте мне закончить так. Эти несколько совершенно безумных боевых танковых генералов, Гейнц Гудериан, фон Клюге, и Кляйст, открыли вновь – впервые со времен германских воинов доисторической эры – тот принцип, что командующий должен всегда быть не далеко в Париже (как в том были убеждены французы), а на линии передовой. Они носили на себе фотокамеры, классическую «Лейку» в их случае, и сами снимали боевые действия. И выкладывали их, так сказать «в мировую сеть». И это и есть единственное бессмертие, доступное нам в современности, кроме, конечно, бессмертия Гумберта Гумберта и Лолиты.¹

¹14Периодический словарь Колтухович при участии Д. Золотова.

в так называемую мировую гражданскую войну, как мы знаем по трудам классиков (я имею в виду и Карла Шмитта, и Арона, и многих других). Кстати, именно такая война в разные периоды и была характерна для большевизма и нацизма. То есть в то время, как Гитлер осуществляет свои захватнические планы на мировой арене, в его политике продолжает действовать та же внутренняя форма, что и раньше. Более того, она является расово необходимой для консолидации режима. По сути дела, есть только одно объяснение гражданской войны, в данном случае, в отношении нацистского режима: это то, что внутренний враг – насколько он обнаруживается, насколько он оказывается доступным, обозримым и исследуемым – становится консолидирующей фигурой для национального возрождения на почве конфликта с ним. По описанию нацистской идеологии и по тому, что мы можем предположить в наших анализах, внутренний враг – это ближайший враг, особенно если соотносить его с так называемым внешним врагом. Внешний враг – это просто межгосударственные войны, которые велись всегда, особенность же внутреннего врага заключается в том, что он враг миметически ближайший, и в рамках такого миметического отношения вскрытие его – болезненная, по сути дела драматическая, трагическая, чудовищная операция, которую проделывает над собой национальное самосознание. Из такого вот болезненного отношения к своему ближайшему, к тому, что, казалось, было частью тебя самого зачастую фактически и рождается форма патриотического переживания мира. Так что гражданская война в своих исторических, экономических, финансовых, и конечно, в своих непосредственно разрушительных формах может быть на деле сведена к узкой парадигмальной ситуации – к понятию «внутреннего врага», а так же описываться через эту молекулу буквально по отношению ко всему громадному материалу, который мы имеем. И эта молекула, эта маленькая матрица даёт нам очень важные результаты.

Другая, хотя очень близкая и похожая парадигмальная структура – «враг народа», формировалась в рамках еще одного становящегося тоталитарного режима, назовём его сталинистским или советским.

Враг народа не описывался в качестве какой-то расовой или этнической принадлежности, он не имел никакого реально-го облика, это была чистая пустая форма, но столь же активная. На место нее могли подставляться какие угодно «вредители», «инженеры», «гнилая интеллигенция» – да любые люди, спо-

собные к оказанию какого-либо сопротивления. Тоталитарная сталинская система эксплуатировала внутреннего врага совершенно таким же образом, как нацистская. Всем нам известный сталинский террор, собственно, формировался через эту структуру, когда «внутренним врагом» мог оказаться самый близкий. Сестра, мать, отец, сосед по парте, такой же партиец, как и ты, такой же заслуженный, как и ты, но только теперь почему-то – «враг народа». Налицо целая совокупность признаков, которая создавала поле миметических двойников, в рамках которого и действовала тоталитарная схема. Перед нами множественное удвоение, характерное для обоих тоталитарных режимов, поскольку эти режимы (как тот, так и другой) захватывают себя, свою территорию, своё население мифом великой победы – победы над внутренним врагом – и отваживаются на тот вид гражданской войны, который (как это многократно подчёркивал такой ее теоретик, как Владимир Ильич Ленин, доведивший понятие гражданской войны до уровня мировой революции) фактически является войной на полное уничтожение.

Идея внутреннего врага намного богаче для тоталитарного режима, для его совершенствования, становления, нежели любая идея внешнего врага. Внешний враг – всё-таки менее доступен и менее культивируем в рамках вот такой идеологии. И у нас имеются два таких матричных случая, которые мы описываем как «чистый негативный миметизм». Именно этот негативный миметизм фактически продуцирует наши представления о том, какие механизмы ненависти, враждебности и желания уничтожить противника, так называемого «врага», существуют в обществе. Если мы бросим взгляд на ситуацию, которая складывалась в нашей ближайшей политической истории, то увидим, что любая борьба за власть кончается террором, а террор является необходимым инструментом легитимации той группы, которая пришла к власти. И в дальнейшем подобная борьба за власть, ее террористический захват становятся перманентными, они становятся целевой установкой той группы, что у власти, и «внутренний враг» тут несомненно очень помогает – он помогает в деле постоянного очищения и все более глубокого развёртывания «борьбы». То есть фактически можно сказать, что легитимация некоторой группы, пришедшей к власти, происходит только лишь в силу того, что для нее продолжается непосредственная, никогда не прекращающаяся борьба за власть. И это не борьба между партиями, а борьба между тем предполагаемым

«внутренним врагом», который откуда-то может возникнуть, и тем идеальным представлением о мире, которое существует у тоталитарного сообщества или тоталитарной структуры, которая постепенно складывается. Иными словами, тоталитарная структура только и *складывается* что на базе постоянной эксплуатации образа «внутреннего врага».

Цивилизованные формы могут удачно скрывать это внутреннее противоречие, конфликт, который существует, эту перманентную гражданскую войну, которая идет... Но фактически в рамках нашей новейшей истории я даже не знаю точки, в которой бы эта война остановилась; она идет непрерывно, но теперь – в самых тонких сублимативных формах. Хуже всего не то, что мы страдаем от этой войны, а то, что мы не знаем ее границ, мы не знаем всех форм распространения её сублимаций. Поэтому немалая доля и какой-то оппозиционной деятельности всегда выстраивается через довольно комическую схему отношений чёрного и белого, красного и белого, высшего и низшего и т. д. Иными словами у нас никогда не появляется никакой третьей силы. Это является знаком гражданского противостояния и знаком сублимативной формы гражданской войны, которая ведётся непрерывно. Мне кажется, при анализе ее надо исходить из таких посылок, которые несут в себе определенный образ антропологического содержания.

Что же касается фашистской модели, или нацистской модели, то замечательный экскурс когда-то проделал в «Диалектике просвещения» Теодор Адорно, один из основателей критической теории общества. Он предположил два аспекта, связанных с матричной миметической формой зависимости палача от собственной жертвы. Форма «евреи» выступает как некоторое место, где должна располагаться жертва, а палач – это тот, кто пытается преодолеть своё отвращение к ней. Адорно прекрасно показал это отношение отвращения к жертве и зависимости от неё. И сосуществование, по крайней мере, двух операций, мгновенно сталкивающихся между собой и действующих при введении понятия «евреи» в нацистской идеологии. Это – идиосинкразия и патетическая, или параноидальная проекция.

Идиосинкразия – это ситуация, когда в рамках той униформы и рационального поведения, которое требуется от людей, подчинённых высшей воле, воле вождя, всякое проявление миметической реактивности, непосредственности и спонтанности, или рассеянности являются вызовом. Этот вызов и обозначается

словом «евреи». И в этом смысле евреи оказываются миметической платформой для понимания вообще человеческого, то есть «евреи» оказываются не просто евреями, а местом, где какая-то часть человеческого осуждается и приговорена к уничтожению. Поэтому нацистская форма отвращения к евреям и преследует антропологические максимы.

Далее, то, что касается параноидального. Само преследование заключается в том, что то, что мне не нравится в этом человеке, вдруг обнаруживается во мне, и я это обязательно проецирую на другого, и могу избавиться от этого, только нагружая тот образ всем тем, от чего я хочу избавиться. Например, Адорно прекрасно показывает, с какой невероятной силой была разыграна так называемая «гримаса еврея», этот доминирующий образ, или же характерная ситуация, связанная изначально с карикатурами, которые делались *на самих* нацистов! Это область самовосприятия, или зеркального отражения нашей собственной миметической природы, которая движется через такой пустой отражательный образец, каким являются, например, «евреи» или «враг народа».

Кто у нас такой «враг народа»? Кто «враг народа», ближайший к деспоту? Да его ближайшие друзья. Вся Ленинская партия. Все те, с кем он выпивал многие стаканы грузинского вина, с которыми дружил, с которыми обменивался самыми невероятными сведениями о собственной жизни и т. д. Ближайшие друзья – именно они приговорены. Именно здесь ощущается какой-то момент начала понимания гражданской войны, того, что только в рамках гражданской войны и её форм и зарождается террористическое сознание – сознание, которое является безличным, безначальным и неродственным никому. Иначе говоря это – полная, объективированная форма борьбы за власть, при которой власть должна, так сказать, удерживаться во что бы то ни стало, любой ценой, даже если нужно убить мать, отца, сына, ребёнка – неважно, потому что задача заключается в тотализации процедуры захвата власти, раз этот захват продолжается непрерывно и легитимация не наступает никогда. А как она могла бы наступить? – Подобная форма борьбы за власть не выработывает никакой оппозиционной силы, которая позволила бы ввести момент легитимации. Ведь легитимация никогда не идет через прямое самоутверждение группы, но движется через *оппозиционную* легитимацию, то есть через те силы, которые каким-то образом могут действовать самостоятельно и в противовес.

Введённые мной формулы – сдвоенные и достаточно примитивные, но здесь присутствует объективная сложность теоретической разработки каждой группы вопросов, связанных с антропологией гражданской войны.

И, наконец, хотелось бы напомнить, что существует очень разработанная формула, известная ещё с четвёртой главы «Феноменологии духа» Гегеля «Отношения раба и господина». Сегодня эта формула присутствует во всех конструкциях западной мысли – Батая, Сартра, Мерло-Понти и т. д. Это, если так можно говорить, ее *французские варианты*. Есть и просто *западные варианты* (тот же Адорно), или *немецкие*. Формула отношений раба и господина, которую развивает Гегель, связана с тем, что по мере развития взаимоотношений господина и раба возникает некая надежда на то, что раб, формируя себя через отношения с господином, вытеснит господина и станет как бы концом истории. Рабское сознание, которое доводит себя до сознания господина, становится, своего рода, универсальным сознанием. И вот это-то универсальное, бывшее рабское сознание и характерно для тоталитарного режима. И если мы переносим гегелевскую схему в антропологию гражданской войны, то она срабатывает там таким же пояснительным образом, каким я на примере гражданской войны пытался представить некоторые моменты развития философии истории.

КЛОУН (НА ВОЙНЕ)

Лео БАССИ

Это мой дедушка, когда он был под Верденом. Сражение под Верденом – самое страшное сражение времен Первой мировой войны. На этой фотографии он изображен вместе с собакой, которая бежала от бомбежки. Он много месяцев прятал ее и за это время научил трюкам.*

Меня зовут Лео Басси, я известен как клоун. Люди удивляются, когда кто-то так себя описывает: я – клоун. А я горжусь этим. Так или иначе, традиция клоунады в моей семье очень давняя. Мой отец, дедушка, прадедушка, прапрадедушка и, как мне кажется, даже прапрапрадедушка начиная с 1840 года, были клоунами. По крайней мере, к 1840 году относятся первые воспоминания и плакаты выступлений, сохранившиеся в нашей семье.

Война. О войне я думаю очень много, потому что мне кажется, что по какому-то счету между войной и смехом, войной и клоунадой есть много общего. Это не очень простая параллель, конечно, не в том смысле, что все политики, генералы – клоуны, нет, параллель идет гораздо глубже. Нужно абстрагироваться от понятий добра и зла, и подумать о человеческой деятельности в чистом виде, которая является воплощением наших животных инстинктов. Если начать думать о войне как о выражении животного инстинкта, тогда понимаешь, насколько близко все это к клоунаде, потому что в клоунаде тоже все-таки главным является животный инстинкт. К примеру, я представляю, что, когда начинается война, и кто-то вооружился пистолетом или бомбой, и чувствует себя вправе убивать, нарушать права других, сжигать, взрывать дома, и освободиться полностью от всех условностей жизни, то я подозреваю – к счастью, со мной такого никогда не бывало, именно поэтому я просто подозреваю, – что человек этот чувствует то же самое, что чувствую и я, когда я, клоун, нарушаю традиционализм общества, уничтожаю всякий порядок в мыслях, ставлю с ног на голову хорошее и плохое, чтобы заставить людей смеяться. Но в сущности, люди смеются той идее освобождения, которую клоун зарождает в них тем, что делает. Я говорил с людьми, которые принимали участие в военных действиях, и они объясняли мне, как трудно, им было, придя с войны,

снова вернуться к условностям, отказаться от былой свободы, потерять те невероятные мгновения, когда ты крушишь все устоявшееся. Но в чем же разница? Разница, на мой взгляд, очень глубокая. Клоунада имеет отношение к невозможности достижения конца. Да, это нарушение авторитетов, но лишь потому, что авторитет и авторитетность являются некой окончательной инстанцией; да это – нарушение религиозных конвенций, – но лишь потому что религия и бог являются некими окончательными утверждениями, не терпящими возражений. Комедия и смех – это уничтожение авторитетов, ради того, чтобы держать все вещи открытыми, текучими. Комедия – это динамика, движение. Именно в этом, как мне кажется, война и комедия расходятся, потому что концепция войны – это концепция какого-то окончательного решения ни на жизнь, а на смерть, победы или поражения. Так или иначе, война приводит к смерти, а смерть – это окончательное, финальное утверждение, последняя декларация.

Клоун не может убить. Если клоун кого-нибудь убьет, это значит, что он немножко переборщил с серьезностью намерений, с серьезностью своей игры, это уже трагедия. Клоун может посягать над убийством, может смеяться над смертью, опять же, выйдя за границы добра, зла и условностей, но в конечном итоге это все равно игра, это не действительность, не что-то определенное. Как я уже говорил, комедия оставляет вещи в потоке, она делает их *относительными*. В то время как война кладет им конец, ибо война – это действие окончательно и бесповоротное.

Помню, я часто разговаривал с отцом. Он говорил мне о том, как комедия защищает человека. Когда я говорю о клоунаде, я говорю не только о своей традиции, это еще и традиция кочевников, кочевых цирков, житья в разных странах. Я, например, не могу сказать, кто я такой. Иногда я говорю, что я испанец, иногда – что итальянец, иногда – что француз. Кто-то называет меня американцем, потому что я родился в США. Лично я не чувствую принадлежности к какой бы то ни было стране. И дедушка, и отец – все они были кочевниками. И всегда было ясно, что разница с оседлыми людьми заключается в том, что у них есть защита; их защищают их соседи, их правила, их страна, ее армия, ее полиция, а если у тебя нет страны, соответственно, нет солдат, которые будут тебя защищать, нет стен и редутов. Единственная защита, которая распространялась на мою семью на протяжении ста семидесяти лет, заключается в смехе, кото-

рый ты смог вызвать в людях, в зрителях. Смех – твоя главная защита, смех – твое главное оружие. Идея юмора как защитного оружия клоуна для меня является совершенно фундаментальна. Я очень горжусь тем, как мы могли поддерживать эту свободу безвизового режима, путешествуя из одной страны в другую, пользуясь в качестве защиты собственным остроумием, собственной любовью к смеху и жизни, даже в непростое время и сложных ситуациях. У меня есть фотография, которую я показывал на последнем представлении, оно называется «Утопия»*. Это фотография моего дедушки. С одной стороны, она очень трагичная, с другой стороны – очень смешная. Мой бедный дедушка, гастролируя со своим номером в итальянском цирке, оказался в результате во Франции в 1914 году. Как раз начиналась Первая Мировая Война. Прямо с представления французы его призвали в армию и отправили на фронт, он был еще в призывном возрасте. Мой дед говорил мне потом, «Лео, делай все, что можешь, но в армию – ни ногой, никогда! Это худшее, что может произойти. Это худшее, что произошло со мной. Мы интернационалисты, мы не принадлежим к какой бы то ни было отдельной стране! А я должен был идти на войну и убивать всех этих австрийцев и немцев и я не понимаю, зачем».

Недавно, перелистывая старый альбом, я нашел эту фронтовую фотографию дедушки – у него там собака на голове. На самом деле эта фотография была сделана под Верденом, местом одного из ужасных сражений Первой Мировой Войны. Это были 15-17 километров передовой, где погибло миллион триста шестьдесят тысяч солдат только за один год, сражаясь друг с другом. Дедушка там же стал свидетелем того, как умерли его коллеги, клоуны, с которыми он выступал вместе. Какое-то время им, трем друзьям-клоунам, им удавалось оставаться в одном отряде, по крайней мере, так они могли делиться дружеским теплом в эти ужасные времена и поддерживать друг друга. И вот его друзья-клоуны погибли в бою достаточно быстро. Я разговаривал с матерью, дедушка тогда был еще жив, и она сказала: помни, дедушка всегда говорил, что эта собака, скорее всего, спасла ему жизнь. Потому что в самый печальный свой период, в период нигилизма и отчаяния от того, что ему, клоуну, приходилось убивать, он нашел эту брошенную собаку, и обучил ее, как настоящий цирковой артист, цирковым трюками и в результате начал смешить своих французских однополчан. И мне сразу же было понятно, что это было единственным человеческим действием,

человеческим поступком, которым он поддерживал связь со своим миром, миром цирка, к которому принадлежал. Я очень горжусь тем, что у меня есть эта фотография дедушки, точнее, единственная фотография времен войны, на которой он изображен с собакой, сидящей у него на голове. Это, как мне кажется, невероятная точка зрения на войну как таковую.

Дедушка рассказывал, что самым абсурдным для него были 1912 и 1913 годы. В эти годы он работал в Германии во многих цирках, и он говорил, что лучший зритель был всегда немцем. Именно немец смеялся больше всего, от души, что называется. Вскоре после этого, а прошло всего полтора года, ему пришлось этих немцев убивать. Дедушка мне говорил, что каждый раз, когда он убивал немца, он понимал, что убивает одного из своих зрителей, то есть он собственными руками лишал себя зрительской аудитории. Я согласен, это черный юмор, но это показывает, каким образом думают о мире клоуны.

Сила комедии по сравнению с силой войны... Война – это когда рациональный способ защиты политической точки зрения терпит крах, и высвобождаются энергии инстинкта, когда мужчины и женщины просто дичают. Я по собственному опыту знаю, что означает подобное одичание. Это было совсем недавно, я очень хорошо это помню.

Это было 1 марта 2006 года в Мадриде, в Испании.* У меня было представление – я смеялся тогда над католической церковью, над религией как таковой, но конкретнее – над папой Римским. Вы знаете о том, что в Испании очень сильна католическая традиция. Я пользовался старинным стилем комедии, когда клоун смеется над папой Римским, смеется над богом. Ну, и в результате, некие правые радикальные организации, католики-националисты, так их называют, так вот, они стали угрожать мне во время представления, пытались меня остановить, прекратить высмеивание папы Римского. Мне стали приходить анонимные письма, раздаваться анонимные телефонные звонки с угрозами, вот-де если не бросишь, будут последствия. Кто-то бросил бутылку с бензином перед зданием театра, «театра Альфи», в котором шло представление, и оно загорелось. Они пытались атаковать зрителей, которые шли на представление... И, наконец, наступил тот невероятный момент, когда я пришел в театр, чтобы давать представление, и в этот момент, в двух метрах от входа в мою гримерку обнаружили бомбу. Кто-то подложил бомбу, килограмм в тротиловом эквиваленте, то есть это

была не хлопушка, они действительно хотели меня убить. Все это обнаружили буквально за несколько мгновений до взрыва. Они использовали старую систему, бикфордов шнур. Когда доходишь до такого момента, понимаешь, что это уже не шутки и что твоя клоунада, твоя игра чревата последствиями, тебя могут убить за то, что ты смешишь людей. Я никогда не чувствовал подобное раньше. Я почувствовал противоречие между смехом как способом мыслить и таким отношением к жизни, при котором за смех тебя осуждают на смерть. Это был невероятный момент. Я помню, что вечером того дня я сидел и размышлял, продолжать это представление или нет. Меня поддерживало очень большое количество людей. Продолжай, говорили они, – сотни, даже тысячи людей. И мы все решили продолжать. Пришлось, правда, сменить место проживания, потому что люди, которые хотели меня убить, знали мой адрес. И тут я обнаружил, что клоун на самом деле гораздо смелее, чем я думал. Я никогда не думал о себе как о смелом человеке. Я никогда не думал, что для меня так важно отстоять свою целостность и свою свободу, свободу смеяться над тем, что, как я считаю, заслуживает осмеяния, пусть даже это и религия, которая очень глубоко затрагивает людей. В тот момент я понял, что клоунада – это даже сильнее, чем война, это больше, чем война. Оружие, которое у меня было, мои шутки, моя смешная пластика, оказались сильнее и действеннее, чем автомат или бомба, потому что это настолько напугало некоторых людей, что они решились меня убить. Это также заставило меня задуматься об истории клоунады как таковой. Очень многие клоуны в прошлом, и мужчины, и женщины, распрощались с жизнью, только потому, что отстаивали право на смех. Один из последних людей, которого убила инквизиция, в данном случае это была португальская инквизиция, был комедиантом. Это было в Рио-де-Жанейро в 1753 году, если я не ошибаюсь. Это был некто де Суза.* Он был известный человек, комедиант, писал пьесы, комедии. Католическая церковь в то время считала его чуть ли не чертом, и потом его, а также его мать и жену сожгли на костре за то, что они смеялись.

Вернемся к тому, с чего мы начинали. Итак, война – это очень инстинктивная вещь, пробуждающая в человеке инстинкт; желание же смеяться над серьезностью войны, смеяться над теми, кто считает, что они вправе решать, что правильно, а что неправильно, кому жить, а кому умирать, – вот этот последний бунт, окончательный бунт против предписанной определеннос-

ти смерти, и является главным оружием клоуна.

Конечно, сегодня есть другие способы ведения войны. Есть обычная прямая война, в которой убивают людей, есть также измерение медийной войны, другими словами, это вопрос о том, кто контролирует доступ к нарративу войны, контролирует то, что будет потом звучать с экранов телевизоров и что будет написано в газетах, кто прав, кто неправ, кто по какую стороны баррикад, окопов, линии фронта. Кто контролирует нарратив войны? В этой системе координат позиция клоуна более тонкая, более сложная, и потому – более интересная. Одной из главных дилемм и противоречий клоунского искусства является то, что качество твоего труда на самом-то деле гарантирует тебе выход из цирка, переход на телевидение, славу, богатство, уважение и любовь, потому что ты снимаешься в кино, потому что ты все время на телевидении, про тебя пишут газеты, – и вот в этот момент клоун начинает терять свою силу, свою власть. Он становится частью системы. Он становится частью властителей, частью того самого нарратива, который контролирует определенная группа людей. Самый ужасный момент наступает тогда, когда бывшие смешные, невероятно обаятельные, замечательные клоуны перестают пользоваться своим даром для того, чтобы бороться с классом властьпридержащих. Они уже часть этой системы, они не могут кусать руку, которая их кормит. Есть опасность того, что окончательный акт свободы, а именно – возможность смеяться над властью, просто уходит из нашей жизни, потому что люди, способные на подобное волеизъявление, уже куплены этой самой властью. Это означает, и на этом я закончу свое выступление, что нам нужны *клоуны со сверхзадачей*, которые руководствуются не только соображениями богатства и власти, которые делают свое дело из любви к искусству, из необходимости выступить против традиции, против уклада, люди, которых нельзя будет купить и продать. Люди, которые могут оставить за собой независимый взгляд. То же самое касается и войны. Инстинктивно необходимо быть сильным, инстинктивно необходимо смеяться, оставить за собой независимость и свободу. Это очень одинокая борьба, поверьте мне. Благодаря опыту моей жизни, противостоянию фанатиками, могу вам сказать, что все это возвращает тебе чувство какой-то целостности, чувство того, что ты делаешь правильную вещь, и это для меня гораздо важнее, чем власть или деньги.¹

КРУГ ВОЙНЫ

Аркадий Бабченко

Каждая война имеет свой радиус распространения. Её круг четко очерчен. Его пересечение ощущается физически – все ты пересек черту, въехал в круг. За два километра от черты войны может не быть вообще, но тут все сразу меняется. Словно повернули выключатель, и ты уже совсем в другом мире.

Первые ощущения у всех одинаковы: «Это не со мной, это такое кино» и «Мама, роди меня обратно». Происходящее кажется нереальным. Этого не может быть. Где-то далеко – возможно. На кадрах киноленты – да. Но не здесь, не сейчас и не со мной.

Меняется обстановка. Сгоревшие дома, трупы животных, разорванная раскуроченная техника, гарь пожарниц, беженцы с тюками, козами, скарбом, гроздьями свешивающиеся с грузовиков. Бездомные с ошалевшими глазами. Раненные. Растерянные новобранцы. Бардак. Кругом только военная техника, только крики и мат. Нет ни света, ни водопровода, ни магазинов, ни телефонной связи, ни такси – ничего, что составляет наш привычный мир. Глаз цепляет только разруху, люди живут на улице или в подвалах. Пьют топленый снег или воду из речек и болот. Страх, отчаяние, озлобленность, напряжение разлиты в воздухе. Они чувствуются буквально кожей.

Понятие дома перестает существовать. Когда внутри человеческого жилья лежит снег, это рождает странные чувства.

Меняются запахи, ощущения, даже цветовая гамма. Синее небо, белые облака, зеленые горы пропадают, остаются только черно-белые тона. Красок больше нет, они не воспринимаются сознанием.

Самое сильное впечатление оставляет запах. На войне он совсем другой. Его не описать, но и ни с чем не спутать. Смесь солярных выхлопов, пыли, горчины пожаров, разрухи и черт его знает чего еще. Иногда примешивается трупный.

Кровь тоже имеет не только свой цвет, но и свой запах. Это сгустки, это живое. Если перебита артерия, то кровь имеет желеобразный вид с белыми сгустками, она не течет, она вываливается из человека комками, такое ощущение, что она дышит, это было внутри, это тоже человек – и запах от неё такой же: тяжелой свежатины. На это тяжело смотреть. Но запах тяжелее. И запоминается четче.

Вся романтика, которую ты читал в книжках, с первым убитым превращается в полное говно. Ты смотришь на сгоревших рваных людей, и понимаешь, что ты, оказывается, тоже не центр Вселенной. Тебя так легко убить! Ты ничтожен по сравнению с процессами, которые задействованы в этом кругу войны, которые приводят в движение огромные массы людей, мгновенно, нарушая законы логики и обыденной физики, переводят вещество из одного агрегатного состояния в другое, ломают броню, раскалывают землю, изменяют пространство. Только что был дом, а теперь его нет. Только что был танк, а теперь нет. Только что было десять человек, а теперь их нет. Все происходит мгновенно. Сила, разрывающая тридцатитонные танки на куски, парализует. Диктовать свою волю стопятидесятидвухмиллиметровому снаряду невозможно. Ты – не главный.

Под воздействием изменившегося внешнего мира меняется и само твоё тело. Зрение и слух становятся острыми, как у кошки, обоняние тонким, как у собаки. Движения – резкими, быстрыми и точными, как у ящерицы. Проводимость нервов и работоспособность мозга увеличиваются кратно. Ты следишь сразу за всем, обрабатываешь гигабиты информации мгновенно, замечаешь миллионы деталей и принимаешь решение.

Основное чувство это, конечно, слух. Ты учишься определять по слуху направление стрельбы и расстояние до неё, угадывать количество работающих стволов. По звуку боя можно определить его интенсивность, расположение сторон и даже примерный сценарий развития событий. Ночью слух улавливает малейшие движения.

Помимо обострившихся пяти старых чувств появляются десятки новых. Первым рождается чувство опасности. Оно становится идеальным, как у городской крысы. Ты знаешь, куда ходить нельзя и когда ходить нельзя. Ты можешь чувствовать, что на тебя смотрят. Умеешь предвосхищать обстрел. Иногда знаешь, что сейчас будет жопа – и она непременно случается. Можешь предчувствовать минное поле, хотя никаких видимых признаков этому вроде бы нет. Ты даже примерно можешь определять место падения снаряда или мины.

Рождается чувство пространства. Ты прорастаешь в него, как паук в паутину и реагируешь на каждое малейшее его изменение, как на подрагивание нити. Пространство существует тебе неотделимо от тела, а ты существуешь в нём.

Ты начинаешь чувствовать людей на расстоянии. Человек

может ничем – вообще ничем – не выдавать себя: ни звуком, ни запахом, ни единым движением – но ты знаешь, что он есть.

Десятое, пятнадцатое, двадцатое чувство. Их сложно объяснить, как сложно объяснить слепому человеку ощущение зеленого или мужчине понять, что такое вынашивать ребенка – просто потому, что у них нет необходимых для этого органов чувств. Ты прорастаешь этими своими новыми чувствами в войну, как щупальцами, и начинаешь ощущать её физически.

Изменяется течение времени. Мир становится резким и отчетливым, как на контрастной фотографии. Ты мыслишь уже секундами. Дальше, чем на час не загадываешь. Сутки – это много, чертовски много.

Твое тело полностью руководит тобой. Ты не сможешь заставить его встать и медленно пойти в полный рост под огнем – оно просто не даст тебе этого сделать. Оно само научится нырять в землю, даже когда ты еще не слышишь ничего, и само станет спасать тебя и себя от опасности.

Изменившееся тело начинает менять сознание. Разум, осмысление происходящего, уходит. Начинаешь жить только инстинктами. Быть хорошим солдатом совсем не значит точнее стрелять и дальше кидать гранаты. Быть хорошим солдатом, значит иметь тело, в котором проснулись инстинкты. Стать разумным австралопитеком, сочетающим в себе отточенный разум человека и остроту инстинктов животного. Кто быстрее успел пройти этот путь регресса от цивилизации к обезьяне, чьи нервы на доли миллиметра толще, а проводимость импульса в них на наносекунды выше, тот и прав.

Пропадают такие ненужные чувства, как любовь, радость, доброжелательность. Выживание – энергозатратная штука. Ты гниешь, тело покрывается язвами, кожи может не быть на ногах полностью, от колена до ступни, начинается кровавая дристка, ноги распухают, ногти отваливаются, кисти рук покрываются от экземы коростой, которая прорастает сквозь шерстяные перчатки, зимой постоянный холод, постоянно долбит голодуха, летом жарища, тепловые удары, жажда и одутловатость тела. Вшей сотни, они составляют серую шевелящуюся массу в паху и подмышками.

Калорий, чтобы подпитывать мозг, не хватает. Человек тупеет. По большей части находится в состоянии апатии и просыпается только для боя, для войны. К жизни и смерти начинаешь относиться одинаково – одинаково безразлично.

Банально начинаешь забывать язык, в обиходе остаются только те самые простые слова и понятия, которые необходимы для производства таких же простых продуктов и действий – жратва, курево, тепло, сон, защита, убийство.

К морали это не имеет никакого отношения. С точки зрения физиологии, война – это тотальная перенастройка химических процессов в организме. Прекращается выработка гормонов, отвечающих за позитивные эмоции и на несколько порядков подскакивает выработка гормонов негативных. Обостряются такие жизненно необходимые чувства, как агрессия, ненависть, озлобленность, жажда убийства. Человек становится физически не способен радоваться.

Ты начинаешь превращаться в животное. Просто поразительно, до какой степени оскотинивания может дойти человек. И как быстро это происходит. Война страшна не тем, что отрывает руки-ноги. Она страшна тем, что отрывает душу. Немотивированная, неоправданная – во имя чего? – жестокость очень быстро приводит к деградации личности. Если можно убивать детей, значит можно все. Бога нет. Запреты сняты. Ответственности не существует. Законы человеческого общения не действуют.

Никакого фронтового братства на войне нет. Есть стаи, но и в них каждый сам по себе. В Моздоке дедовщина даже для нашей армии была – перебор. Могли убить запросто. Забить до потери сознания табуреткой или дужкой кровати. В офицеров стреляли регулярно.

Ты перестаешь думать, а способность действовать не думая становится гипертрофированной. Ты постоянно находишься в состоянии стэнд-бай, даже во сне. И тумблер щелкает без твоего желания и мгновенно. Рефлексы срабатывают как у собаки Павлова. Автоматизм действий – сначала стреляешь, а потом думаешь.

Чукчи выделяют сорок разновидностей снега. Ты же познаешь десятки разновидностей страха. От ледяного ужаса минометного обстрела до горячечного ажиотажа боя, когда кровь вскипает от адреналина и хлещет из ушей. От постоянного тянущего ожидания опасности, до животного страха смерти, панического ужаса, когда в тебе говорит уже не человек, а сама жизнь.

Со страха легче всего убить.

Самый страшный из всех страхов – звук падающей мины. Она дает время на осознание происходящего. Все, что ты мо-

жешь в такие секунды – лежать мешком и ждать, когда она тебя убьет. Тело становится холодным и легким, невесомым, ты замерзаешь от этого страха и не можешь шевелиться, спина становится огромной, как континент и промахнуться по тебе просто невозможно. Мина всегда летит прямо в тебя. И – горячий пот в ладонях, дрожь, когда все закончилось.

В бою человек испытывает одно-единственное чувство. Эйфория – вот чем награждает природа за близость смерти. Защитная реакция. На всех видео из Чечни люди в бою смеются. Организм так устроен. Не мозг управляет тобой – надпочечники, поджелудочная и гипофиз. Адреналин, тестостерон и эндорфины вырабатываются стаканами. Ты счастлив. Ты хочешь только одного – чтобы в мире всегда была война и на этой войне всегда был ты. И ржешь, как безумный.

А потом приходит опустошение. А потом остается уже только оно.

В среднем, человек может продержаться на войне два-три месяца. Потом в психике начинаются необратимые изменения. У кого-то раньше, у кого-то позже, но – всегда. Дело тут не в интеллектуальном развитии и не в нравственных качествах. Наоборот, слишком высокая духовная настройка перегорает быстрее, как слишком тонкая микросхема от слишком сильного тока. Давно известно, что лучшие солдаты скорее получают из малограмотных деревенских парней, чем из высокодуховных интеллигентов.

Со мной это произошло на третьем месяце. Я помню этот момент. Почувствовал, как схожу с ума. По-моему, даже видел себя со стороны.

Мне хотелось тогда только одного – убивать. Подряд, всех: стариков, детей женщин – без разбора. Именно убивать, руками – душить, резать рубить лопаткой. Всех, по очереди, каждого.

Если человек находится на войне слишком долго, эти изменения могут стать тотальными. Такой человек превращается в волкодава. Его не интересует уже ничего, кроме убийства. Обратного пути из такого состояния нет, я знаю единицы тех, кто перешел эту черту и сумел вернуться обратно.

Война притягательна, как притягательно любое уродство. Гуинплен вселенского масштаба. Её вирус поражает сознание и превращает его в сознание все того же Гуинплена. Ты становишься моральным уродом.

Но вместе с тем вдруг повышается и та внутренняя нравственная планка, описать которую очень сложно. Подвиг, геро-

изм, самопожертвование, мужество, высшие порывы человека на войне настолько же распространены, как и грязь. Они становятся естественными. Человек, с которым ты согреваешь друг друга теплом собственных тел, становится тебе больше чем брат. Люди, от которых ты этого меньше всего ожидал, жертвуют собой ради других. Восемнадцатилетние мальчишки проявляют такие чудеса стойкости духа, от которых шерсть на затылке встает дыбом. Их смерти освещены какой-то высшей истиной.

И ты вдруг с удивлением обнаруживаешь в себе эту же черту – невозможность предать мужество павших, даже не самих парней, а то, как они погибали. Имея возможность выбрать жизнь, выбирать смерть – сознательно. И ты знаешь, что если наступит момент, ты готов.

И ты понимаешь, что все самое черное, что есть в твоей жизни, это война. Но и все самое светлое, что есть в твоей жизни – это тоже война. И лучшего ничего уже не будет.

А потом... Потом она заканчивается.

И вот приходят мальчики с войны. Куда? Непрерывность жизни разрушена, прошлое и будущее разделены ямой, как континенты океаном. Твой мир рухнул, как после атомной бомбардировки. Все твои навыки в жизни утеряны. Ты знаешь, как ставить растяжку или куда стрелять человеку, чтобы гарантированно его убить – сделать это не так-то просто, человек довольно живучее существо – но здесь это не нужно. Ты также все время находишься в состоянии стэнд-бай и становишься животным мгновенно, как будто в голове кто-то поворачивает рубильник, ты готов убивать и умирать не задумываясь – ты все-таки стал хорошим солдатом – но в мирной жизни эти твои навыки абсолютно неприменимы. Ты ждешь от мира то же самое, что он ждал от тебя, отправив на войну – самопожертвования. Но людям на тебя наплевать.

Вы не понимаете друг друга – ты и мир. Ты смотришь на него глазами войны. Оцениваешь людей не по толщине кошелька, а по их реальной стоимости. Не понимаешь и не принимаешь их ценностей. Потому что знаешь, что настоящие ценности – другие.

И ты вдруг понимаешь, что тот мир, к которому ты так стремился, который ты себе рисовал, оказался на самом деле лишь парадом уродов, душевно кастрированных морально неполноценных людей, эвфемизмом, тобою же нарисованным в

сознании, а настоящая, единственная, реальная жизнь – была там. Где поступки весомы и слова значимы.

Война не кино, а дембель не конец фильма. Ты не можешь поверить, что все просто так вот взяло и закончилось. Забыть – тоже предательство. И ты начинаешь ненавидеть людей, которым до вас нет никакого дела.

Первое желание по возвращении у всех тоже одинаково – начать убивать. Всех. Подряд. Не задумываясь.

Система «свой-чужой» бывших своих определяет теперь как чужих, а бывшие враги становятся тебе более своими, чем свои в кавычках. Ты не понимаешь, как можно пить пиво и веселиться, когда люди убивают людей всего в двух часах лету отсюда. Ходить на мюзикл, когда погибают дети. Во время терактов ты скорее на стороне боевиков, чем заложников. Вас взрывают? Ну и что? Все это время там происходит то же самое.

Ты никогда больше не будешь прежним. Можно бросить наркотики, можно вернуться с войны. Но и в том и в другом случае человек уже никогда не будет полноценным. Какие-то участки поражены безвозвратно. Ты не можешь производить любовь, доброжелательность, радость, открытость, счастье. На возвращение этих чувств уходят годы. Обратный путь от обезьяны к человеку крайне тяжел. И дается далеко не всем.

Тех, кто был со мной на второй войне и сумел выбраться из этой ямы, я могу пересчитать по пальцам.

И ты понимаешь, что с войны не надо было возвращаться. Военный билет выдается в одну сторону.

Обратно из этого круга – круга войны – не выходит уже никто.

ЛИКИ УЖАСА

Энтони Бивор

За последний десяток лет военных историков не раз атаковали на их же территории разные сторонние наблюдатели: социальные историки, постмодернистски ориентированные историки культуры и так далее. Новый взгляд всегда полезен, он заставляет наши идеи шевелиться. Но для истинного понимания войны и армий необходимо, чтобы сторонние наблюдатели также постарались поставить себя на место солдат.

Одной из самых противоречивых книг последних лет стала книга Джоанны Бурк «Интимная история убийства». В своих тезисах Бурк в сущности пытается доказать, что мужчины отправляются на войну потому, что получают сексуальное удовольствие от убийства. Для определенного меньшинства, и меньшинства, вероятно, очень небольшого, это несомненно так, но такая теория в общем-то подрывается тем фактом, что большинство солдат во время Второй мировой войны старалось не стрелять из своих винтовок в ходе сражения.

Исследования, проведенные британцами в 1943 году, показали, что в обычном взводе из тридцати человек или около того, лишь незначительная горсть, как правило, их было меньше пяти, проявляла агрессивность. Остальные либо следовали за этими бойцами, когда все шло хорошо, либо же, в момент паники, устремлялись группами прочь с поля боя. Эти базовые заключения были подтверждены в ходе куда более масштабного исследовательского проекта, осуществленного армией США после войны. Меня заинтересовало, что те же схемы действовали и в Красной армии. Один советский офицер сказал великому писателю Василию Гроссману, что после боя надо проверять оружие солдат, и всякого солдата, чья винтовка не обнаружит следов пороха, надо стрелять на месте как дезертира.

Фундаментальным упущением тезисов Бурк стала их неспособность выделить главный компонент насилия на войне. Когда я проводил свои исследования испанской гражданской войны, то очень скоро стало ясно, что главным фактором здесь выступает страх, в особенности же – подавление страха. Это особенно ясно на примере Испании, общества настоящих мачо, где для человека наибольшим позором считалось показать

свой страх – что и создавало самую взрывоопасную обстановку, какую только можно представить. То же в большинстве своем верно для всех милитаризованных обществ, которым необходимо воспитывать атавизм агрессии, дабы заставить своих мужчин рисковать жизнью. Геббельс, со своим дьявольским гением это понимал. Он понимал, что одной ненависти ко враждебно настроенному местному населению недостаточно, чтобы заставить немецкую армию убивать любого, кто встретится на пути во время ее зверского вторжения на территорию Советского Союза в 1941 году. В своей пропаганде ему надо было замешать ненависть на страхе. Можно сказать, что ненависть была взрывчаткой, а страх – детонатором.

Точно так же в сражении за Нормандию в 1944 году немецкая пропаганда сконцентрировалась на том же замесе – ненависти к Союзникам за бомбардировки немецких городов и страхе полного уничтожения Германии, в случае победы союзников.

Знаменательно, что Британские и Американские психиатры в Нормандии, которым пришлось иметь дело с большим количеством психологических травм – 30 000 человек в одной только армии США – были поражены тем, насколько мало случаев психоневрозов встретили они у немецких военнопленных, большинство из которых пережило куда более интенсивные воздушные и артиллерийские бомбардировки, чем солдаты союзников.

Из этого они заключили, что принципиальное различие между двумя сторонами конфликта состояло в том, что солдаты союзников психологически не были готовы к войне, в то время как десять лет нацистской пропаганды доказали чрезвычайную эффективность в деле подготовки мужчин к страданию и жертвам. Наиболее очевидным следствием этого стало то, что пропаганда является даже более важным оружием войны, чем мы могли предполагать. И естественно, она становится еще важнее в случае асимметричной войны, с ее террористами-смертниками.

Коль уж мы заговорили о Нормандии, то хочу упомянуть об одном чудовищном парадоксе. Армии демократий способны причинить смерть огромному числу гражданских лиц – при подготовке операции «Оверлорд»^{*} и во время сражения за Нормандию воздушными бомбами и артиллерийскими снарядами было убито около 35 000 мирных французов. Это происходит из-за того давления, которое оказывает парламент, пресса и общественное мнение на генералов, заставляя их любыми средствами сокращать число жертв среди своих. Что обычно означает: прибегать к огромно-

му количеству взрывного оружия, дабы нанести максимальный ущерб врагу при наименьшем ущербе себе.

Прежде чем перейти к миру после Холодной войны, где в основном ведутся асимметричные войны, давайте сначала бросим краткий взгляд на то, как развивалось ведение войн, начиная с конца 18 века. Американская революция 1770-х – гражданская война и одновременно анти-колониальная борьба – первой продвинула идею народной патриотической и идеалистической войны. Революционная война во Франции пронесла эту идею еще дальше со своим *levée en masse* – началом общей воинской повинности. Любопытно, как великий политический мыслитель Алексис де Токвилль отмечал сходство между якобинцами и экспансивной фазой становления ислама в VIII веке.

Гражданская война 1860-х в Америке произвела смертельное соединение современной артиллерии – с ее шрапнелью – и массовых атак призывных армий. Это привело к ужасающим человеческим жертвам, превышавшим все возможности тогдашнего все еще примитивного медицинского обслуживания. С началом окопной войны все это стало первым и главным шагом к практике индустриализованного ведения войны на Первой мировой.

Аграрное французское общество с большим количеством детей и ограниченным количеством земли первое предоставило неограниченный резервуар пушечного мяса для армий массового призыва. Но к 1914 году – в период быстро роста населения – это уже раздутые города Европы поставляли войне свою долю «лишних сыновей», если использовать выражение Эдварда Луттвака*.

Гражданская война в Испании – это что-то вроде перекуты между Первой и Второй мировыми войнами. По сути, она прошла через три фазы. В первые три месяца конфликта, когда по утопающему в солнце сельскому пейзажу носились колонны полурегулярной армии, эта война имела вид почти что мексиканской революции. Затем в ноябре 1936 г. испанских республиканцев заставили отказаться от идеи, что укрываться в окопах – трусость, и вместо этого убедили нарыть окопы для обороны Мадрида. Наконец, последний год войны, который начался с разгромного арагонского наступления, дал примеры того стремительного передвижения войск и тех воздушно-танковых операций, которые в дальнейшем оказались весьма полезными для Вермахта.

Тотальная война на восточном фронте между 1941 и 1945 годами стала довольно явной кульминацией того идеологичес-

кого процесса, что нарастал с 1930-х, – массовой милитаризации, соединенной с массовой индоктринацией. Оба, и Гитлер, и Сталин, лишали своих врагов любого человеческого облика благодаря пропаганде и полному контролю над СМИ. Они также были готовы пожертвовать жизнями собственных людей и обеспечить их полное подчинение с помощью ужасных дисциплинарных мер, которые перенимали друг у друга. Сталин позаимствовал идею штрафбатов у немцев (*Strafkompanie*), и даже сохранил немецкое *Straf* – в их названии.

Гитлер, впечатленный тем, как Красная Армия продолжает держаться там, где он ожидал полного крушения, решил позаимствовать некоторые советские приемы, включая институт комиссаров или политруков. В Вермахте это превратилось в должность «офицера от национал-социалистического руководства». Гитлер также заимствовал советскую идею заградительных отрядов, для остановки отступлений, используя в этих целях СС и *Feldgendarmarie*.

В Сталинграде, заградотряды и расстрельные батальоны сыграли решающую роль, хотя и на совершенно другом уровне. Цифра в 13.500 советских солдат, казненных своими же, несомненно является одним из наиболее страшных статистических показателей за всю историю современных войн.

Но смогла ли бы любая другая западная армия удержать Сталинград в сентябре-октябре 1942 года, столкнувшись с теми силами, что были туда брошены? Думаю, нет. Западные армии держались того понимания, что страдания имеют предел, и, достигнув этого предела, ты сдаешься. Красная армия, прижатая к ногтю Сталиным куда больше, чем Вермахт Гитлером, не знала подобных ограничений. Никто не может ожидать от армий либеральной демократии, что они будут сражаться с той же беспощадностью, что и армии диктатур. То же, конечно, и даже больше относится к сегодняшним демократиям, сталкивающимся с теократическим восстанием.

Солдаты на Восточном фронте боялись как своего врага перед собой, так и расстрельных отрядов позади. Это поставило их под ужасное психологическое давление. Они и советское гражданское население были безжалостно брошены между жерновами двух тоталитарных режимов. Снайперам-красноармейцам в Сталинграде, например, было приказано стрелять в голодных русских детей, которых немецкие пехотинцы за корку хлеба уговаривали наполнить их фляги в Волге.

Даже сдача в плен не обязательно означала избавление от смерти для немецких солдат. На Восточном фронте не было никакой там белиберды Женевской конвенции – насчет того, чтобы придерживаться имени, ранга, номера. Никогда не забуду один протокол допроса, который вел через переводчика в Сталинграде начальник разведки 62-й армии. В конце страницы была нацарапана приписка, в которой говорилось, что допрос был прерван, поскольку информант умер от ран.

Но откуда эта русская способность переносить страдания? Кто-то говорит, что это часть восточного и духовного наследия России. Кэтрин Марридэйл в своей недавней книге «Иванова война» справедливо утверждает, что эта способность пришла вместе с поколением, выращенным посреди чудовищного страдания – Первая мировая война, Гражданская война, голод, коллективизация, чистки. В любом случае, фатализм представлялся лучшим способом с этим справиться. Те, кто выжил, рассказывают, что они ни на секунду не верили, что останутся в живых. Оптимистов и идеалистов обычно убивали первыми. Интересно, что это кажется прямо противоположным той схеме выживания, что действовала в концентрационных лагерях во время Второй мировой. Там, скорее, выживали именно те, кто верил, а фаталисты, прозванные «мусульманами», первыми сдавались и умирали.

Берлин был последней великой битвой в Европе, в которой сражались огромные призывные армии. Но век «нации под ружьем» на Западе по-настоящему не кончился вплоть до падения Берлинской стены в 1989 году. И его остатки существуют до сих пор в некоторых странах, таких, как Северная Корея и Китай.

Конец Холодной войны привел к переоценке военных нужд и целей в более оптимистическом ключе. Все стали говорить о «Дивиденде мира». И, однако, многие люди до сих пор говорят, что Холодная война держала мир в смиренной рубашке почти полвека, и когда она внезапно закончилась, на поверхность всплыли национальная и этническая ненависть. Этнические чистки, проводившиеся парамилитаристскими группами в Югославии, потрясли Запад. Армия НАТО обнаружила, что находится в мире так называемой «кривой Си-Эн-Эн» – в мире синдрома «надо что-то делать». На более официальном языке это получило название «вооруженный гуманитаризм» – в резолюции Совета Безопасности ООН № 794 за декабрь 1992 года. И однако, не было проведено никаких настоящих дебатов о влиянии этой

резолюции на международное право и на ту базовую предпосылку самой ООН, что национальный суверенитет неприкосновенен.

Как обнаружили во время осады Сараево британские миротворцы, проблема состояла в том, что агрессор и виновник этнической чистки реагируют только на превосходящую силу. Люди игнорировали войска ООН в голубых беретах и на белых машинах. Британский командующий генерал сэр Майл Роуз, к сожалению, выбрал неудачный титул для своей книги на эту тему – «Воюя за мир». Он, кажется, не знал балканской шутки, что «воевать за мир – то же, что трахаться за целомудрие»,

Работает или нет «вооруженный гуманитаризм» так, как от него ожидали – Сомали, Босния и Косово не очень вдохновляющие примеры – он, по крайней мере, положил начало дискуссии о роли солдата в XXI веке, даже если некоторые из высказанных идей и были откровенно ошибочными. Незадолго до падения Берлинской стены американский ученый Эдвард Луттвак сравнивал роль будущих миротворцев с теми тяжело вооруженными римскими легионерами, что стояли на дальних рубежах цивилизованного мира – но такая параллель говорит, скорее об американском отношении к принуждению к миру в конце XX века. В бывшей Югославии и в других местах, США проводили высоко-техничные и низко-солдатозатратные операции, задействовавшие, как правило, силы с воздуха. Эти операции почти полностью доказали свою контр-продуктивность. На умную бомбу дня вчерашнего день сегодняшний отвечает бомбой террориста-смертника.

Когда истек срок действия ультиматума в Косово, французский генерал Морийон сказал: «Это что за солдаты, которые готовы убивать, но не готовы быть убитыми?» И однако, хотя США с тех пор и стали куда менее щепетильными в отношении человеческих жертв, и в особенности после 11 сентября, однако «Воздушная защита», как и избежание ближнего боя, до сих пор является их приоритетом. Танки США во время второй Иракской компании заимствовали рекламный лозунг телефонной компании AT&T «Дотянись и тронь кого-то» – чтобы похвастаться превосходным диапазоном стрельбы у своего оружия.

Нигде подобная идея невидимого врага не вызывает большего возмущения, чем в арабском мире. Высокотехническая война на удаленном доступе кажется там наглой и трусливой. Например, ничто не вызвало большей ярости в груди палестинцев, чем удары умных ракет, нанесенные с вооруженных изра-

ильских транспортных самолетов по их вождям-террористам. Такая реакция является военной параллелью ненависти ислама и Третьего мира к глобализации. Какова бы ни была тут логика или ее отсутствие, это – процесс сопротивления, которое резко увеличивает разрыв между экономически развитым миром и миром народов ислама и стран Третьего мира, отрицающими современные ценности.

Итак, имеет ли армия, сражающаяся с войной, которую ведут друг против друга боевые группировки, необходимые для «принуждения к миру» качества? Любопытно, что генерал Джон Кизли недавно доказывал, что сегодня, быть может, прямым долгом при антитеррористических операциях становится высококультурный «рыцарский дух», который был свойствен традиционной армии... Около пятнадцати лет назад председатель комитета вооруженных сил при французском сенате сказал мне, что сегодняшние пацифисты – это генералы. И перед последней иракской кампанией именно британские армейские генералы подвергли сомнению военный энтузиазм Тони Блэра и законность вторжения. Их нежелание вступать в эту войну шло от понимания того, что военное вмешательство подобно социальной инженерии: оно почти наверняка приведет к результатам отличным от тех, что ожидалось.

Конечно, тактика сегодня нуждается в переосмыслении. Даже операции в Северной Ирландии тридцатилетней давности показали, что пешие и моторизированные армейские патрули, призванные обеспечить безопасность, обеспечивали собою – в качестве символов иноземной оккупации – очевидные мишени для атаки террористов. Военный успех в этом случае был достигнут при помощи войск специального назначения, действовавших на основании хорошей разведки – практически главного элемента при проведении контртеррористических операций сегодня. И мало к чему это так относится, как к, возможно, неуспешному конфликту в Афганистане.

Поскольку война естественно возбуждает в нас сильнейшее чувство ужаса, нам вдвойне необходимо понимать ее психологическую динамику, прежде чем бросаться в осуждения и обобщения. И таким образом, очень опасно пытаться навязать этому предмету какую-то сетку теоретических понятий. Первым долгом историка всегда должен быть долг понимания. Мы не должны забывать, что интеллектуальная честность – это первая из жертв морального негодования.ⁱ

ⁱ Перевод с англ. К. Голубович при участии Д. Золотова.

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Олег Аронсон

Для нас сегодня словосочетание «неизвестный солдат» звучит крайне обыденно. Мы прекрасно знаем памятники и мемориалы, разбросанные по всей по всей Европе, посвященные неизвестному солдату. Многократное употребление этого словосочетания привело к тому, что нам кажется будто за этими двумя словами стоит вполне конкретный смысл, но не будем спешить с тем, чтобы его огласить еще раз, в который раз. Заметим лишь, что сама попытка осмыслить то, что стоит за простыми словами «неизвестный солдат» натывается на некоторый парадокс: мы прекрасно знаем о том, что множество людей погибло, мы знаем, что огромное количество останков не идентифицированы, что многие пропали без вести, и количество погибших превышает нашу способность именовать. Этот парадоксальный избыток смерти, заключенный в самой фигуре неизвестного солдата, заставляет нас говорить о ней как об анонимном множестве. Мы знаем неизвестного солдата только как множество. Мы не знаем никакого другого неизвестного солдата. То есть неизвестный солдат в каком-то смысле это имя множества жертв. Он абстрактен в своей единичности, и конкретен в множественности и анонимности. Потому осмысление фигуры неизвестного солдата – это некоторый предел (один из пределов) мысли о войне вообще. Говорить о войне сегодня, значит, в том числе, осмыслять, что такое неизвестный солдат – невидимая жертва войны, количественно превосходящая все прочие жертвы. Эта фигура отмечает собой границу времен, которая прошла по границе различных типов войны. Сегодняшняя война, в которой есть неизвестный солдат, совсем другая, нежели та, когда его не существовало. А ведь было такое время. Время это можно исторически условно обозначить началом XIX века, когда впервые возникает фигура неизвестного солдата, и появление ее связано с тем, что война перестает быть регулярной войной армий, а становится войной народов. Первые монументы в Европе появляются в середине XIX века. В XX веке, после I мировой войны прежде всего, это становится распространенным, почти клишированным образом жертв войны, причем жертв героических.

Как говорить о неизвестном солдате? Язык политики здесь невозможен, потому что сама фигура неизвестного солдата есть в определенной мере преодоление привычного соединения войны и политики. Это некоторая избыточность жертвы, которая не учитывается экономикой войны, которая возникает как вина по окончанию войн, и которая свидетельствует о том, что война все еще не окончена. Я попробую предложить способ говорить о неизвестном солдате исходя из другого опыта, нежели военный, из опыта поэтического. Обратимся к двум людям, к двум русским писателям и поэтам, которые оба написали в конце своей жизни циклы под названием «Неизвестный солдат». Первый цикл очень хорошо известен, это знаменитые стихи из «Воронежских тетрадей» Осипа Мандельштама, стихи о Неизвестном Солдате. Вокруг этого цикла множество исследований, множество комментариев, он изучен досконально во всех его вариантах. Есть различные интерпретации этих стихов. Эти интерпретации сделаны блестящими филологами, российскими и зарубежными. Другие стихи куда менее известны. Это стихи даже не написанные, а продиктованные больным Варламом Шаламовым в психиатрической клинике, можно сказать, записаны с его слов, причем до сих пор не ясно, насколько точно они записаны. Эти стихи, на мой взгляд, и те и другие, позволяют нам мыслить войну иначе, нежели она мыслится в терминах политики. Благодаря стихам Мандельштама и Шаламова мы получаем возможность прикоснуться к неполитическому в войне, к невысказываемому в высказывании войны.

Итак, начнем с того, что есть драматургия в столкновении этих двух стихотворений, потому что стихи Мандельштама написаны в 1937 году незадолго до его ареста и гибели в лагере, стихи Шаламова написаны в 1980 году, точнее, повторюсь, продиктованы в 1980 году, за год до его смерти. Стихи Шаламова, так или иначе, но имеют в виду уже существующий цикл Мандельштама, в некоторых строчках даже недвусмысленно отсылают к нему. Прочтем первые строчки сначала стихотворения Мандельштама, потом Шаламова. Итак, Мандельштам:

*Этот воздух пусть будет свидетелем -
Дальнобойное сердце его -
И в землянках всеядный и деятельный -
Океан без окна, вещество.*

Так начинаются стихи Мандельштама, в которых сразу происходит смешение стихий, смешение воздуха и земли. Я на-

помню, что для Мандельштама очень важен этот мотив земли, поскольку для него неизвестный солдат, как и практически для всего XIX века, – это пехотинец. Не случайно, в других его стихах, написанных гораздо ранее, есть такие строчки, которые посвящены людям обывденной повседневной жизни:

*Мы умрем как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.
Есть у нас паутина шотландского старого пледа.
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.*

Это написано задолго до стихов о Неизвестном солдате. В этих строках слышится не только, что каждый солдат прежде всего – пехотинец (хотя это важно), но и то, что каждый человек становится солдатом-пехотинцем в нынешнем мире... А это происходит тогда, когда меняется характер войны, когда война не идет между государствами и нациями, когда уже война не идет между армиями, когда война идет по всей земле. Не случайно, и в стихах о Неизвестном солдате у Мандельштама возникает этот мотив:

*Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека:
Им обоим найдется работа.
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка -
Эй, товарищество – шар земной!*

Здесь видно, что «шар земной» – земля, не разделенная на территории, охваченная войной, в которой нет различия между военным и штатским, между дезертиром Швейком и героем Дон Кихотом, между человеком и калеккой. Они все объединены одним, тем, что они – неизвестные солдаты, пехотинцы – жители и воины земли. Теперь я прочту вступление в цикл Шаламова:

*Я был бы наверно военным
В любые былые года
Да рубль потерял неразменный
Среди торосистого льда
Я был неизвестным солдатом
Подводной, подземной войны,
Истории важные даты
С моею судьбой сплетены*

Здесь обращает на себя внимание мотив войны, которая идет уже не на земле, и даже ни в какой-то другой стихии. Эту войну Шаламов называет подводной и подземной. Это не просто тотальная война, в которой отсутствуют государства и территории, за которые они воюют, и даже не та война, которой охвачен весь мир, и все люди. Он говорит о войне, в которой быть неизвестным солдатом – спасение. Это желание быть неизвестным солдатом сообщает о том минимуме жизни, при котором даже война является чем-то радостным. Подобный мотив мы видим, например в тех же стихах Мандельштама: радость войны, которая проявляется в сопричастности друг другу и открытии общности и товарищества. Варлам Шаламов говорит о том минимуме жизни, в котором нету вещества сопричастности, в котором уже невозможно ни товарищества, ни братства. Но он, в то же время, в этих строчках указывают на ту сопричастность истории, которую открывает именно неизвестный солдат, и именно солдат подземной подводной войны. Итак, перед нами два образа неизвестного солдата, и каждый из них по-своему преодолевает тот политический образ, который сложился, когда создается культ неизвестного солдата. Фактически, через поэзию, к нам возвращается невысказываемое войны. Но если у Мандельштама возвращение происходит через границу XIX и XX века, проходящую по первой мировой войне, проходящую по поколению, о котором он пишет в самом конце:

*Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором...
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном.
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.*

Это речь об исчезающем поколении, исчезающем в пламени войны. Шаламов же пишет о той жизни, которая не сжигается этим пламенем, которая остается и завидует умершим, завидует тому братству и товариществу, которое те смогли испытать хотя бы в войне, хотя бы в гибели на войне. Итак, перед нами тот образ жертвы, который постоянно рефлексирован, который отмечает не только границы политического в войне, но и границы выска-

зывания самой поэзии, невозможность поэтического высказывания. Если политика, говорящая о войне, для которой война, по словам Жан-Люка Нанси, это искусство производства суверенитета, то есть некоторая техника, то стихи Мандельштама преодолевают по крайней мере суверенитет, к которому стремится политика войны. Стихи Шаламова, на мой взгляд, преодолевают к тому же и всякую попытку быть техникой, быть искусством. Два имени жертвы: одна жертва – это сообщество (множество) жертв, радостное этой открытой войной общности-в-смерти. Так у Мандельштама. И другая жертва – та, у которой есть только одно желание – быть неизвестным солдатом, которая не способна даже на общность. Можно сказать, что такой неизвестный солдат – последняя сопричастность Истории, но только это мусор Истории, исключаемый самой ею. Это никому не нужное большое «я», лишенное субъективности, которая может только шептать одну фразу – «я мертв». Это желание быть мертвым, обретает в стихах Шаламова предельную конкретность и сообщает нам нечто о человеке, войне и мире именно через фигуру неизвестного солдата, что мы до сих пор не готовы услышать: есть вещи страшнее мировых войн и их огромных жертв, и это – разрушение общности и сопричастности друг другу. И сегодняшняя война ведется именно в этом пространстве.

ООН: УСЛОВИЯ МИРА

Владимир Петровский

Что ж, дорогие участники конференции, я рад этой возможности обратиться к вам с выступлением, тем более, что ее тема – акции, связанные с войной, и с тем, как обеспечить условия мира, – представляют большое поле для мозговой атаки, тем более в нынешних условиях, когда перед лицом кризиса нового мироустройства с особой остротой возникает вопрос о регулировании международных отношений, т.е. о направлении их по правому руслу. И, что особенно важно, что наша встреча дает возможность для поиска различных подходов и обучения тому, как создавать условия мира в новом, возникшем в начале нынешнего тысячелетия, мироустройстве.

Как я говорил, сегодня в качестве основной задачи выступает вопрос о регулировании международных отношений. Для ответа на этот вопрос мне хотелось бы обратиться к тому, что уже неоднократно выдвигалось в международных организациях и в международных структурах, начиная, я бы сказал, с XIX века, к вопросу о регулировании, цель которого – всегда заключалась в том, чтобы обеспечить превентивную дипломатию, миростроительство, и создать условия для мира. И что в этой связи, поскольку в своем выступлении я хочу остановиться на вопросе об условиях мира, мне хотелось бы обратить внимание на тот документ, который до сих пор, я считаю, играет важную роль при поисках ответа на эти вопросы, которые в нынешних условиях кризиса нацелены на выяснение путей и средств выхода из него – это превентивная дипломатия, миростроительство и обеспечение мира. Что очень важно – ответ на эти вопросы содержался, как я сказал, содержался в «Повестке дня для мира» (An Agenda for Peace)*.

Эта «Повестка дня для мира» была подготовлена в 1991 году, когда в начале года, в январе, в Нью-Йорке, состоялась первое в истории Организации Объединенных Наций совещание глав государств, и которые как раз рекомендовали генеральному секретарю разработать вот эти вот концепции. И генеральный секретарь, в то время Бутрос-Гали, поручил мне – я уже был в течение года заместителем генерального секретаря ООН – возглавить комиссию по подготовке документа, который он назвал

«Повестка дня для мира». Это было очень близко и моему пониманию, и очень близко теме нашей сегодняшней конференции. Тем более, когда мне делалось это предложение, генеральный секретарь учитывал то, что на протяжении целого ряда лет в 1976–79 гг., когда я сначала был заместителем, а потом первым заместителем министра иностранных дел Советского Союза, я активно продвигал в ООН идеи нового политического мышления, которые делали большой акцент на превентивной дипломатии, миростроительстве и новом регионализме. В этом документе разработаны вопросы, которые доминируют в течение длительного времени в международных отношениях, и, особенно после того, когда стала действовать многосторонняя дипломатия, т.е. предприниматься усилия к нахождению условий для предотвращения войны и созданию благоприятных обстоятельств для мира не в одиночку, а совместными усилиями.

Надо сказать, что идея эта не новая, она доминировала еще и в древнем Риме в Помпейские времена, но только на Венском Конгрессе в 1815 году речь зашла об обеспечении безопасности совместными усилиями, причем эта идея об обеспечении взаимной безопасности была значительно укреплена во второй половине XIX века, когда был создан Европейский концерт, и особенно сильное звучание она получила после создания Лиги наций, а затем ООН, целью которых и было обеспечение безопасности. Неслучайно, Организацию Объединенных Наций при ее создании Москва даже предлагала назвать Организацией Безопасности, но потом все сошлись на том, что организация будет объединять все нации, большие и малые, а Совет Безопасности выступит как своего рода главный орган, занимающийся всем комплексом вопросов. Надо сказать, что в годы холодной войны, безопасность всегда обосновывалась вот этими задачами взаимных действий. Однако каждый раз возникала дилемма взаимных действий, поскольку взаимные действия требовали согласия всех государств – принцип, зачастую игнорируемый в условиях применения силы. Вместе с тем, в годы холодной войны все более и более возникала потребность в продвижении идеи взаимного обеспечения безопасности, что, в частности, диктовалось и тем, что в военном измерении сферы безопасности стала доминировать реальная угроза применения ядерного оружия. Она с особой остротой высветилась во время кубинского кризиса, а затем, по мере дальнейшего развития холодной войны, опасность применения ядерного оружия становилась все более и более

осязаемой. В этой связи безопасность стала требовать выхода на взаимодействие, и соответствующие попытки начали предприниматься уже в 1973 году. В 1973-75 годах состоялась первая в истории международных отношений попытка сформулировать общие подходы к безопасности – не только в военном измерении, но и в других измерениях, в частности, в вопросах торговли, в обеспечении прав человека, в создании совместных органов. Это было сделано во время конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и там, собственно, были найдены основные строительные блоки, то есть впервые за всю историю безопасность стала рассматриваться не только в военном отношении, но и в других блоках, как всеобщий подход, причем безопасность рассматривалась как основное условие обеспечения мира, что и было продемонстрировано уже при создании ООН. Что очень важно, хотя с этого момента дальнейший поиск этих акций и продолжался, но реальный прорыв к безопасности во всех аспектах был сделан только в 1986 году, когда после трех лет переговоров, собственно говоря, впервые за всю историю ООН, Москва и Вашингтон совместно внесли проект резолюции о безопасности во всех аспектах – безопасности не только от войны, но и от голода, нищеты, экологического загрязнения, и нарушения прав человека. Потребовалось 3 года, прежде чем впервые за всю историю Организации Объединенных Наций, Москва и Вашингтон согласились на то, чтобы совместно внести проект резолюции на голосование в Генеральную Ассамблею – такого никогда не было в истории ООН. Это случилось в 1986 году, и была принята знаменитая резолюция №8841, которая и показала необходимость всеобъемлющего многомерного подхода к безопасности. Об этом в ней четко говорилось и, более того, делался акцент на необходимость обеспечения безопасности на региональном уровне. С окончанием холодной войны обстановка уже стала резко меняться, но мы, тем не менее, все-таки не можем не учитывать, что военная составляющая и по сей день продолжает оставаться частью подхода к безопасности.

Посмотрите, на военные расходы сегодня тратятся огромные средства – их было бы достаточно для того, чтобы снять проблему голода для трети голодающих Земли, – но для того, чтобы обеспечить безопасность и создать условия для мира, требуются действия по всем направлениям обеспечения безопасности. В этих условиях важную роль должен сыграть новый подход и к силе. Сила остается, как я уже сказал, важным средством,

но сила должна использоваться только в крайних случаях, как это предусмотрено Уставом ООН и по решению Организации Объединенных Наций, то есть при согласии всех членов Совета Безопасности и двух третей всех членов Организации. И больше того – о какой силе сегодня должна идти речь? Если взять уроки из прошлого, и взглянуть в будущее, мы должны говорить о чем – о разумной достаточности. И крах Советского Союза, да и то, что произошло в 50-е годы, неоднократно подчеркивало необходимость того, чтобы военные расходы имели разумный предел, то есть речь шла о разумной достаточности, в противном случае это ведет к обратным результатам. Кроме этого, важное значение имеет сегодня дипломатия.

Дипломатия выступает как метод регулирования отношений – метод регулирования, с помощью которого нужно находить компромиссы и достигать баланса интересов, но в новых условиях речь идет о балансе интересов в глобальном контексте, потому что сегодня больше, чем когда-либо все мы ощущаем то, о чем писал в свое время еще Вольтер, что мы все живем на одной планете под названием Земля, поэтому здесь требуется общий подход, и дипломатия имеет сегодня особое значение, особенно как многофакторный инструмент, как многосторонняя дипломатия. Дело в том, вы знаете, что дипломатия всегда различалась как дипломатия односторонняя и многосторонняя, собственно говоря, еще в Древнем Риме об этом говорили. Так вот, многосторонняя дипломатия сегодня становится важным инструментом. Если, как я упоминал, во времена Древнего Рима о дипломатах говорили как о почетных почтальонах и дикторах, то уже с середины XIX века это считалось недостаточным. Целый ряд писателей того времени и, в частности, известный английский дипломат и исследователь Саттол писал об этом, что дипломаты перестают быть только почетными почтальонами и дикторами, а становятся носителями интеллекта и практических действий, направленных на достижение согласия между всеми участниками переговоров. И вот этот вот подход дипломатии приобретает особое значение в нынешних условиях, когда научно-техническая революция изменила всю картину мира и когда, так сказать, мир уже нужно обеспечивать с помощью не просто слов, но и с помощью, прежде всего, практических действий.

Слова без дел сегодня не работают, поэтому важное значение приобретает то, о чем говорили исследователи еще в конце XIX века, использование ума и такта для того, чтобы достигать

компромисс, и главное, что нужно в дипломатии, это выбор момента. Выбор момента – когда приступить к действиям и когда начинать разговор об условиях мира, причем условия мира, как я уже говорил, должны искаяться на путях разумных, путях поиска компромиссов. Поиск компромиссов – в этом суть дипломатии. Важно, что на нынешней конференции присутствуют люди всех профессий – это как раз соответствует и той тенденции, которая характерна и для современной дипломатии. С научно-технической революцией дипломатия превратилась в инструмент компромисса для всех, не только для дипломатов, но и для народной дипломатии, для бизнеса, для всех кругов, потому что с помощью дипломата именно и открывается возможность поиска условий мира. Это очень важный и необходимый элемент, и что хотелось бы особенно подчеркнуть, что, когда идет поиск мира, тогда идет поиск дипломатии в рамках Организации Объединенных Наций. Все действующие лица должны вовлекаться в процесс действия Организации Объединенных Наций, тем более что в ООН сегодня существует не только механизмы для ведения переговоров, формы для накопления знаний, но и главное – сосредоточены именно те знания, которые дают возможность применять их в практических делах, и это очень важно – всегда учиться позитивному опыту. Неслучайно, Советский Союз, казалось бы, такая «продвинутая организация», заключил соглашение с Организацией Объединенных Наций об обмене позитивным опытом.

Позитивный опыт сегодня является главным, что необходимо для того, чтобы создать условия для мира, и чтобы война не причиняла ущерб населению. Плюс к этому, очень важно, требуется гуманитарный подход. Гуманитарный подход предполагает, что при любых условиях необходимо думать о человеке, о гуманитарном императиве – идет ли речь о военных действиях, или о применении силовых методов в области санкций, или даже о мирных условиях, потому что не зависимо от того, в какой форме происходит действие, всегда нужно максимально избегать причинения ущерба мирному населению. Это очень важный подход. И последнее, чем, наверное, хотелось бы мне закончить, то, что сегодня очень много говорится об эффективной политике. Но я думаю, что время эффективной политики прошло, потому что эффективная политика – это только слова. Сегодня требуется не эффективная политика, а эффективная политика, то есть политика, которая сопровождает слова конкретными,

реально осязаемыми делами. И я думаю, наша конференция может способствовать через свои дискуссии, через создание соответствующих коммуникационных возможностей именно достижению этих целей – обеспечению эффективности действий на международной арене.

РАДИКАЛЬНОЕ УПРОЩЕНИЕ

Андрей Ткаченко

Дамы и господа, я думаю, что появление в этой аудитории, среди выступающих психиатра оправдано самим предметом психиатрии, дисциплины, определяющей встречу с носителями того радикального и драматичного опыта, о котором сегодня идет речь. Именно этот опыт получает то качество переживания, по отношению к которому оправданы и психопатологические понятия, поэтому я заранее прошу прощения, что буду вынужден иногда переходить на птичий психиатрический язык. Словосочетание «радикальное упрощение» выбрано здесь не случайно, потому что именно оно в метафорическом, возможно, смысле, определяет вектор, задающий изменения структуры переживания, которые возникают у участников военных конфликтов.

Если идти по традиционной для психиатрии схеме – от внешнего к внутреннему, – то хотелось бы сначала несколько слов сказать о событийной структуре того бытия, в рамки которого попадает каждый человек. Для этой структуры кажется достаточно удачной та идея, которую обыгрывали и проговаривали в своё время Хейзинга, а позже Батай, говоря об игровой структуре войны как таковой. Игровая структура отражает саму диалектику войны, поскольку именно игровые компоненты военного действия в какой-то степени явились источником международного права. Речь идет об ограничении неистовства и беспощадности отдельного человека и о, в общем-то, рассудочном характере войны, подвергающемся рациональному управлению. В этом функция самоограничения насилия.

Но эта функция может быть реализована только тогда, когда противник признается равноправным. Это основополагающий, базовый принцип. Члены того круга, в котором осуществляется война, должны признавать равенство своего противника, равенство друг друга, тогда эти компоненты действительно работают. Но когда оружие направляется на тех, кто считается неполноценным, эти правила и нормы отбрасываются, насилие уже не ограничивается и привычный кодекс чести уже не работает. Здесь надо заметить, что в современных войнах эта структура в значительной степени размывается. И, прежде всего, это

размывание происходило с понятием теории тотальной войны. Напомню, что авторство этой теории приписывается Эриху Людендорфу, чья доктрина, в общем-то, определила фашистскую военную доктрину. Отсюда и те войны, которые характеризуются на сегодняшний день включением элементов, абсолютно непредставимых в рамках игрового пространства, которое характеризовалось классическими войнами, – это и заложничество, это и партизанщина, и так далее, и так далее. Однако и в этих условиях определённая структура сохраняется. Например, если вспоминать Первую мировую, то известны случаи, когда происходило единоличное единоборство, когда, например, известные летчики, прежде чем вступить в бой, сбрасывались с самолета, бросая вызов своим противникам. Нечто подобное наблюдалось и во Второй мировой войне, наблюдается и до сих пор, когда лётчики, снайперы и так далее берут на себя ответственность за такое единоборство. Основные характеристики такого игрового пространства заключаются в большом количестве элементов, среди которых (чтобы перейти к проблеме внутреннего переживания) важны, например, следующие.

Во-первых, это существование игрового пространства, и даже метафора театра военных действий об этом свидетельствует. Далее, это упразднение обыденной жизни, презрение ко всему материальному, разделение людей на воинов и всех остальных тружеников. Это снижение нюансировки в межличностных отношениях, межличностных коммуникациях по типу чёрное – белое, это создание приёмов облегчения восприятия, и опознания принадлежащих к своей референтной группе, то есть близких по типу свой – чужой. Это введение строгих иерархических правил и норм поведения в социальной группе, то есть замена индивидуальных форм поведения на групповые. Это сужение индивидуального выбора, постольку поскольку существует достаточно жёсткое распределение ролей с выделением, по сути, тех, кто играет, и тех, кем играют. Это откладывание отдалённых перспектив с заменой на близлежащие цели, главной из которых становится выживание. Это выработка простых и легко усваиваемых принципов и ценностей, то есть выбор основных и предельно наглядных категорий по типу воинского братства, воинской славы, кодекса чести, мужества, предательства, подвига и тому подобное. Ну, и, наконец, это регрессивное свёртывание речевого поведения, когда истинным ценным высказыванием становится поступок.

Когда я был подростком, я неоднократно с увлечением перечитывал книгу, в которой описывалось поведение моего собственного деда на Второй мировой. Он был морским офицером и однажды был абсолютно несправедливо обвинён в трусости, и в следующем бою, поскольку в его обязанности входило ведение огня с корабля он встал во весь рост на стог сена и с телефоном в руке осуществлял функцию наведения. Я долго не мог понять смысла этого поступка, потому что с отдаления он казался ребячеством, безрассудной бесшабашностью молодого человека. Но сегодня я понимаю, что это был очень точный выбор поступка, который решал проблему подозрения в трусости. И потом в воспоминаниях и в анализах мне неоднократно удавалось увидеть объяснения подобного рода поступков по типу того метафорического утверждения, что на миру и смерть красна. Когда полноценность любого индивида доказывается публично, любые возникающие подозрения снимаются вот такими игровыми рискованными формами поведения, не поддающегося ни уговорам, ни рациональному объяснению. Но здесь заложен и первичный источник страха, потому что те переживания, которые в этот момент двигают человеком, противоречивы, как сказали бы психиатры, амбивалентны по своей сути.

Прежде всего, это противоречие задается конфликтом между стремлением к сохранению своей собственной жизни и чувством долга по отношению к коллективу, то есть к ценностям, которые разделяет окружение, или страхом перед перспективой не справиться с ситуацией и оказаться, по сути, трусом. Фактически, это выбор между смертью физической и смертью социальной, и выбор достаточно узкий. И то, какой поступок будет выбран, зависит, конечно, от той силы личности, о которой говорил Леонов.¹

Сама структура поведения в том пространстве войны, о котором я говорил, определяется личностным типом, который справляется с вхождением в это пространство. Надо сказать, что, конечно, преимущество здесь имеет тот, кто пока ещё не полностью включен в общественные связи разного уровня, у кого не завершены интериоризация социальных нормативов всеобщего порядка и формирование собственных индивидуальных ценностей, – то есть молодые, незрелые люди.

С 2002 года в Чеченской Республике проводятся лонггитудинальные исследования. Две тысячи второй год – период наиболее активных боевых действий вплоть до сегодняшнего дня.

i См. соотв. презентацию Б. Ленова (<http://slowar.tv>)

Эти исследования показали, что есть определенная, достаточно чёткая зависимость развития психических расстройств от возраста. Разные возрастные периоды ведут к разной частоте возникновения психических расстройств, связанных с переживанием военных действий. Так вот, число психических расстройств увеличивается линейно по мере увеличения возраста. Причём в возрастной группе 18–25 лет – наименьшая частота развития психических расстройств. Поскольку они распределялись на невыраженные и выраженные, оказалось, что выраженные психические расстройства отсутствовали в этой группе вовсе. Их не было, они не формировались. Этим объясняется, в частности, особый, специфический колорит, который предшествует опыту, то есть можно сказать об определенном переживании вхождения в это пространство. Оно возникает по типу эйфорического состояния. Здесь можно говорить и о всеобщей, общественной эйфории, всеобщем подъёме энтузиазма, например, но есть и индивидуальная радостно-тревожная взбудораженность, когда человек ощущает свободу с отбрасыванием обыденного мира, который полон неоднозначных многоуровневых выборов и так далее. Это ожидание первого, неизведанного опыта, который связан с ощущением собственной ценности, значимости, переживанием полноты существования. По сути, это не что иное, как инициация, то есть здесь наиболее чётко прослеживаются те переживания, которые вызываются психологической атмосферой турнира или военных действий по типу «нет слаще упоения, чем в бою». Однако затем всё же стержневым становится переживание животного страха. Животный страх – метафора, обыденная, но в этой метафоре передается сама суть, кардинальная суть того переживания, через которое проходит человек, входящий в это пространство войны. В чем его суть? Его суть в том, что ведущий аффект определяется непрерывным существованием в сознании инстинктивного понимания угрозы физического небытия. По сути, это пограничное состояние сознания, в психиатрической терминологии – хронический стресс. И здесь, чтобы оправдать лишний раз наименование «радикальное упрощение», я вынужден прибегнуть к чисто профессиональным понятиям протопатической и эпикритической аффективности, либо чувствительности.

Протопатическая, то есть телогенетически старая аффективность – это наиболее примитивный аффект, который обслуживает чувства удовольствия – неудовольствия, (поэтому он

тесно связан с болевыми ощущениями), а эпикритическая, то есть филогенетически молодая, только человеку свойственная аффективность – так называемая критическая, интеллектуальная, которая отвечает за перцепцию, то есть восприятие, и дифференциацию ощущений. Так вот: те состояния, о которых я говорю, по сути, связаны с протопатическим сдвигом. Это сдвиг личности в сторону аффективности, сильных, преимущественно тягостных переживаний, с расплывчатостью, неточностью этих переживаний, то есть к возникновению чувств витального ряда – тревоги, страха, растерянности, неуверенности, тоски и сужения потока сознания, когда доминирует только одна идея. Возникновение этих состояний, связанных с актуализацией протопатической аффективности, – это человеческая защита. Защита от тех переживаний, которые на него наваливаются, и она связана с переходом к наиболее брутальному, примитивному аффекту, который определяет весь тон переживаний. И здесь главное в эмоциональном воздействии психогенной травмы и её восприятия, даже не содержание само по себе, а интенсивность переживания как таковая. Такого рода переживания ведут к возникновению шоковых реакций. Известны два типа шоковых реакций, которые возникают в таких травмирующих ситуациях, как военные: это общее торможение, ступор, мутизм, то есть отсутствие речи, отказ от речи, и двигательное возбуждение, причём очень хаотичное. Кстати, этим хаотичным возбуждением объясняется то, чему мы потом приписываем определённое содержание, которого не имел в виду человек, осуществляющий это действие. Такие вещи, как дезертирство, перебегание к врагу, – это очень часто те состояния, которые отражают следствия шоковых реакций, совершенно неконтролируемых, произвольных, с хаотичным психомоторным возбуждением. Самое главное, что эти состояния имеют аналоги в поведении животных. Аналоги у животных – это рефлексозамирение и двигательная буря. То есть, когда на них оказывается интенсивное воздействие, они ведут себя точно так же, вернее, человек начинает вести себя так, как это описано у животного.

Интересно, что здесь одним из основных механизмов у человека является механизм диссоциации. Прошу прощения за ещё один психиатрический термин, но суть его сводится к достаточно простой вещи: это переход сознания, это механизм дезинтеграции личности, который проявляется в снижении уровня сознания, сознание переходит к саморегуляции с поведением, к

уровня семантического сознания на уровень сенсорного сознания, и нарушаются интегративные функции своего я. В максимально наглядной форме это описано у тех, кто переживал бой как таковой. Переживания эти, с которыми в самоописании доводилось сталкиваться профессионалам, заключаются в том, что в момент пересечения мёртвой зоны (то есть того пространства, которое отделяет тебя от противника) под ураганным огнём возникает эта самая диссоциация, потом возникает диссоциативная амнезия, то есть это всё устраняется из памяти. Человек не помнит, как он пересёк это пространство, хотя предшествующее этому воспоминание готовности и ожидания, и затем, предположим, рукопашной схватки, становятся наиболее яркими и сохраняющимися на многие годы воспоминаниями, которые иногда захватывают человека и становятся сильнее его, потому что могут всплывать в любой момент независимо от его воли. Такие реакции, кстати, носят достаточно распространённый характер у участников боевых действий, например, у тех, кто был эвакуирован из района боевых действий Пёрл-Харбор. Такого рода реакции, их называли ещё боевым стрессом, синдромом боевого страха, наблюдались у половины американских солдат.

Конечно, этим не ограничивается структура переживаний, с которыми потом приходится сталкиваться, потому что война оправдывает ещё и непосильный труд. Поэтому неслучайно именно ко Второй мировой войне относятся первые исследования, в области того, как человек переживает разного рода трудовую деятельность. Было показано, что если что-то требует постоянного внимания, но не позволяет проявить инициативу и ощутить собственную ответственность за свой труд, то это становится причиной невротических состояний, то есть тех состояний, которые носят психопатологический характер. То же самое описывается у участников боевых действий в виде такого понятия, как хроническая усталость. Она характеризуется целым рядом симптомов, которые я не буду перечислять, но это состояния постоянной внутренней настороженности, и податливой аффективной индукции, по типу групповых нарушений восприятия, которые известны по рассказам людей, пересекавших пустыню, когда всем грезится вдруг в поле зрения оазис. Точно так же происходит и здесь: известны описания, когда москвичам, причём многим сразу, казалось, что начинается очередной налёт, хотя его на самом деле не было, или солдатам в окопах вдруг слышался шум надвигающейся атаки, которая на самом деле не начиналась.

Вот здесь можно подойти к проблеме подвига, потому что именно этот животный страх, архаичные, примитивные, биологически завязанные переживания, по сути, определяют биологический императив, связку: переживание – поведение. Потому что иначе, как вот так, вести себя, казалось бы, невозможно при таком состоянии. Проблема подвига заключается в том, что есть люди, которые способны сознательно эту каузальную связь разорвать и встать над этой предопределенностью поведения в условиях такого, казалось бы, исключительного экстремального переживания.

Но есть еще одна проблема, которой, как я понял, был посвящён доклад о «Пионерской правде»ⁱ и о том, как работа пропаганда. Оказалось, что кое-какие эпизоды лектору было неудобно показать в этой взрослой аудитории сегодняшнего мирного дня. Это вариант такой трансгрессии, когда в условиях войны происходит своеобразная инверсия привычных нормативов поведения, привычных пределов дозволенного, и так далее, и так далее. Здесь можно многое говорить о том, почему это возникает, в частности, это возникает, по-видимому, и потому, что индивидуальный выбор как бы снимается, он либо передаётся вверх по иерархической лестнице, либо вина перекладывается на жертву, которая уже не имеет человеческого образа и так далее, но она так или иначе существует, и поэтому война предоставляет возможности для выхода за пределы привычных нормативов поведения. Вот, в частности, казалось бы, совершенно далёкий пример, но все помнят фамилию Чикатило. У него в подростковом возрасте очень любопытным образом формировалось садистическое влечение. Его любимой книжкой была «Молодая Гвардия», а любимой фантазией – что он партизан, который берёт в плен немца и его терзает, то есть война очень часто предоставляет просоциальные маски для собственных очень неблагоприятных, или, как в данном случае, садистических тенденций, которые оправдывают личность перед собой.

Мы сказали два слова о вхождении, о пребывании в этом состоянии, но вот что касается выхода. Было бы замечательно, если бы прекращение официальных военных действий прекращало бы для общества состояние войны. Но, оказывается, так не бывает. Согласно разным источникам (например, вот источники, казалось бы, старые, 93-го года) посттравматическим стрессовым расстройством страдали от 30 до 45% участников Второй мировой войны, которая закончилась в 45-м году, а в 93-м году

ⁱ См. соотв. презентацию Л. Виноградовой (<http://slowar.tv>)

у оставшихся в живых в половине случаев выявились признаки посттравматического стрессового расстройства. По недавним данным, до 30% ветеранов войны во Вьетнаме обнаруживали те же самые признаки посттравматического стрессового расстройства. Самое примечательное, что это не только сами солдаты, но и все те, кто оказался на театре военных действий, те, кто проживал на оккупированных территориях, и так далее. Если вернуться к тем данным по Чеченской Республике, о которых я говорил, то, конечно, посттравматические стрессовые расстройства, которые выявлялись тогда, постепенно идут на убыль, но каким образом: если в 2003 году они выявлялись у каждого третьего, проживающего на тех территориях, то сейчас они выявляются на тех же территориях у каждого четвертого. А ключевое переживание посттравматического стрессового расстройства, о котором я не буду говорить, – это опять то же самое непроизвольное всплывание воспоминаний, которые определяют, по сути, общий фон существования человека. При этом воспоминании наступает своеобразное оцепенение: все остальные эмоции как бы приглушены, и человек не способен отвлекаться на радости обычной жизни, наступает ангедония, то есть неспособность переживать удовольствие.

Конечно, общество нацелено на то, чтобы этот травматичный опыт каким-то образом переконструировать, каким-то образом преодолеть. Есть определённый спектр нацеленных реабилитационных мероприятий, которые тесно связаны с общественным сознанием в целом, и главное из них – это попытка пережить тот же самый опыт уже в эстетической форме, то есть вернуть ему те мотивы игрового поведения, отказ от которых, возможно, произошёл в реальных боевых действиях, которые переживало общество.

«Словарь войны//SloWar (Moscow_MMX)»

Пресс-релизⁱ

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. Эту дату в России отмечают впервые. Она напоминает нам, что та война, которая для нас – Великая Отечественная, является частью общемирового события, которое началось 1 сентября 1939 года вторжением Германии в Польшу, а завершилось 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии перед объединенными силами союзников.

2-3 сентября 2010 года в Москве в рамках проекта «letterra.org» в партнерстве с театром «Школа драматического искусства», по инициативе издательств «Логос» (Москва) и «Мерве» (Берлин), при поддержке Евросоюза в Москве и при участии Государственного центра современного искусства (Москва) пройдет Вторая сессия конференции «Словарь войны». Ее тема – выход из войны (SloWar-X).

Вторая сессия «Словарь войны. Московская сессия» 2010 года проводится совместно с театром «Школа драматического искусства» в годовщину окончания Второй мировой войны и развивает идеи предыдущей конференции “SloWar”. Война близка к поверхности нашей жизни, потому что российское общество так и не вышло из войны, сохранив войну в самом образе мыслей. Отсюда возникла и проблематика новой сессии – «ВЫХОД из ВОЙНЫ». Мы ставим целью исследовать с помощью наших авторов и выбранных ими слов-концептов ту травму невыхода войны, которая мешает нашему обществу полноправно войти в XXI век. К акции привлечено более 30 участников, носителей интенсивного концептуального высказывания. Каждый из них – персонаж собственной драмы и одновременно участник общего действия. Это – интеллектуальный театр, все участники которого взяты из жизни. Это – ненаписанная пьеса, которая будет сочиняться и разыгрываться прямо перед теми, кто придет. Это – открытая лаборатория, которая покажет результаты эксперимента в реальном времени. Где и по каким концептуальным точкам мы

ⁱ [draft23.vii.2010]

можем стать свидетелями нашего выхода из войны, где и по каким точкам мы из нее так и не вышли? Те же самые вопросы обращены и к гостям – из Польши, США, Исландии, Индии, Германии, Италии, Грузии, Латвии. Театр и теория – слова одного корня. Театр позволит вживую увидеть то, о чем мы только догадывались.

Формат акции прост. Каждому из участников, профессионалу в своей области, обладающему гражданской позицией, предлагается выбрать свое слово, свой аспект войны. Выступающему дается 20 минут, чтобы представить свой концепт перед аудиторией в любой форме – от устного выступления до танца или перформанса. Акция идет два дня в режиме нон-стоп по 7-8 часов. Концептуальные высказывания идут по алфавиту, вместе они составляют «Словарь войны», их видеозаписи выкладываются на двуязычном сайте проекта (см. www.slowar.tv).

Акция начнется в 15.00 в театре «Школа драматического искусства», в зале «Глобус» 2 сентября и продолжится (с перерывом на ночь) с 15.00 3 сентября. Параллельно с проводимой акцией в зале «Атриум» будут представлены тематические выставки и видео высказывания. Акция будет доступна в интернет-трансляции, ее материалы будут выложены на сайте. В зале доступен синхронный перевод.

«Словарь войны//SloWar (Moscow_MMXX)»

Резюме презентацийⁱ

1. ПОВОРОТ ВОЙНЫ. Григорий Померанц
2. ВЫХОД ИЗ ВОЙНЫ. Зубкова Елена
3. Выход из войны//ЭСТЕТИЗАЦИЯ СОБЫТИЯ. Елена Петровская
4. РАБОТА ПАМЯТИ. Али Хамраев
5. КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ. Рохини Сахни
7. ВОЕННОПЛЕННЫЙ. Эрнст Ройс
8. «АУШВИЦ – ЧТО Я ЗДЕСЬ ДЕЛАЮ?» Микола Гринберг
9. ПОТОМ. Йон Олафсон
10. «СО ВСЕХ СТОРОН». Джеффри Уолин
11. БЕДА. Резо Габриадзе
12. КАРАВАН МИРА. Наталья Табачникова
13. МЕТОД СТАНИСЛАВСКОГО-КЛАУЗЕВИЦА. Горацио Черток
14. «ЛУК И ЛИРА». Дарья Лунгина
15. ЙО // ЗВУК АТАКИ. Игорь Яцко
16. <Roda. Axe Saroeiga>
17. «ВОЙНА И МИР». Владимир Мартынов
18. ОБРАЗ ВИНОВНОГО. Елена Гуськова
19. АМЕРИКАНЕЦ. Крис Меррилл
20. «ОНИ». Галина Зверева
21. «ЛЮБОВЬ К ВОЙНЕ». Мартин ван Кревельд
22. СЛУЖЕНИЕ. Михаил Курочко
23. ГУМАНИТАРНАЯ ВОЙНА. Виталий Кафтан
24. НОСТАЛЬГИЯ//ФРИКЦИИ. Петар Боянич
25. ЛЮБОВЬ. Маркус Штайнвег
26. «СМЫСЛ ВОЙНЫ». Юрий Шевчук
27. ИЗГНАНИЕ. Наталья Нестеренко
28. ЖЕРТВА. Александр Черноглазов
29. ПТСР. Григорий Фастовцев
30. ДВОЙНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. Герман Садулаев
31. «ЭПИЗОДЫ ИЗ АУШВИЦА». Яцек Лех, Михал Галек
32. СМЕРТЬ. Дмитрий Новиков
33. «САРАЙ ГОРИТ». Рафал Бетлеевский

ⁱ Подготовка captions презентаций – lettera.org (Ксения Голубович)

ПОВОРОТ ВОЙНЫ

Григорий Померанц

Сталинградская битва как тот поворотный момент, когда «власть», доселе действовавшая в категориях «мести», «опьяненности победой», допускает самоограничение – профессионализмом кадровых военных.

История, предшествующая Сталинградской битве, – это история одной и той же ошибки, совершаемой обеими противоборствующими сторонами. Это ошибка опьянения победой и тем самым недооценки противника. Победа кажется сокрушительной сначала Гитлеру, который не замечает, что война, обещавшая быть короткой, затянулась до зимы, затем Сталина, который считает, что после зимних побед надо продолжать наступление и отменяет любые доводы генерала Шапошникова о необходимости «стратегической обороны» и отказа от тотального наступления. Сталин (как и Гитлер) плохо понимал характер современной ему войны, и не обладал знаниями в военном деле. Именно поэтому еще в самом начале «катастрофы» 1941 года он и не услышал слова расстрелянного им начальника разведки, что войска Гитлера стоят на границах не в оборонительных, а именно в наступательных порядках. Вот и теперь, опьяненный победами, Сталин бросает армии в наступление, которое позволяет немцам, изображая поражение, завлечь советские армии в ловушку, в мешок. Итогом этого стало беспрецедентное число военнопленных – около 4 млн. человек. Итогом этого стала и политическая ошибка генерала Власова, который будучи переброшенным на самолете в центр полукрытой ловушки мог бы прорваться назад, а вместо этого получает приказ Сталина о наступлении. После этого Власов и перешел на сторону Гитлера. Знаменитый приказ «ни шагу назад» – это приказ, отданный в связи со сдачей Ростова, хотя причина, по которой армия ушла оттуда, была все та же: некомпетентность руководства. Но потом ошибку совершает Гитлер – теперь уже он опьянен победой и начинает бороться за город-символ, названный именем Сталина, и при этом отправляет сильную часть своей армии к нефти на Кавказ. Вместо ушедших немецких частей он оставляет войска союзников – испанцев, румын, венгров. Это сыграло свою роль в исходе битвы. Сталинград стал бойней, где погибло и было взя-

то в плен огромное количество народа, где действовал приказ «ни шагу назад», поддержку исполнения которого обеспечивали заградотряды, где мирное население не было предупреждено о начале боевых действий, дабы вид его страданий наполнял армию яростью. Все эти «спецэффекты» возымели действие. В Сталинграде произошел «поворот войны», но поворот этот был еще и в другом –самим обстоятельствами войны власть, уверенная в своей идеологической непогрешимости, вынуждена была пойти на самоограничение, на передоверие многих своих полномочий профессионалам, для того, чтобы вообще выжить. И на этом зазоре и создавался тот особый феномен, который и был назван позже феноменом «фронтовика» – свободного человека, человека, слишком много повидавшего, чтобы служить только винтиком в системе.

ВЫХОД ИЗ ВОЙНЫ

Зубкова Елена

Выход из войны как особый момент в жизни общества. Это не просто выход из конфликта, прекращение боевых действий, это – преодоление самого состояния «пост-военности».

Преодоление состояния пост-военности затянулось в СССР. Причем настолько, что если по всему миру «пост-военные» 50-60 годы дали уже «золотую эпоху», то в СССР они дали только оттепель. Более того, можно сказать, что все последующие шаги, вплоть до Перестройки, оказались растянувшимися во времени шагами по преодолению этого состояния. Ибо выход из войны связан прежде всего с отказом от мобилизации общества, то есть с процессом либерализации. Такие надежды испытывали разные слои населения. Крестьяне ждали, что отменят колхозы, интеллигенция ждала политических свобод. Из двух выходов – возвращение к жизни после войны, как если бы войны не было, и возвращение к жизни через обновление, – многие предпочитали второй. Фигурой нового гражданина мог стать тот новый человек, который эту войну выиграл. Фронтовик, своими глазами повидавший жизнь за пределами СССР, союзник Западных стран, отвечавший за себя и за других, человек с заниженным чувством страха и опытом обращения с оружием. И именно его начинает уничтожать сталинская машина – от отнятия выплат за боевые ордена и отмены празднования 9 мая, до изгнания инвалидов войны из всякой сферы публичности и массовых арестов среди фронтовиков.

Сталинская машина и не собиралась налаживать «мир» в стране и в Европе. Она поставила на новую мобилизацию – запускался проект воссоздания империи. Он приводил к раздутию военно-промышленного комплекса, формированию пояса подчиненных центру недовольных национальных окраин, низкому уровню жизни населения. А для умиротворения людей, властью вновь вводилась прежняя система оценок и самооправданий – тезис о происках врагов, ответственных за трудности, о непогрешимости вождя, принимающего решения, и о новой военной угрозе. Все это обрекало СССР как страну на существование в подвешенности между войнами – вплоть до Перестройки. И во многом соответствующий тип мышления сохраняется и поныне.

ВЫХОД ИЗ ВОЙНЫ// ЭСТЕТИЗАЦИЯ СОБЫТИЯ

Елена Петровская

В современном мире мы становимся заложниками тех образов насилия, которые поставляют нам медиа. Но эти образы не приближают нас к состраданию и памяти, они дают забвение. Как сегодня можно сохранять верность событию?

Понятие «выход из войны» – специфично. С одной стороны, это смена войны миром, как учило Просвещение. И в этом смысле речь идет о конкретной практике прекращения боевых действий. Но «Выход» предполагает и другое – а именно, что мы находимся «внутри» войны и ищем, как ее покинуть. Однако рассуждая о войне как о предмете, мы уже находимся вне ее, снаружи. Ведь рассуждая, мы пользуемся средствами культуры – то есть словами, образами, знаками, и не стоит забывать, что задача этих средств не в том, чтобы сделать нас сопричастными опыту страдания, боли, бедствия, а в том, чтобы нейтрализовать его. Средневековая гравюра о страданиях мирного населения во время, например 30-летней войны, театрализует это страдание, мы рассматриваем ее «с удовольствием». «Реалистичный» образ современных медиа, который кажется «нейтральным» на деле предполагает запись события, то есть многократный повтор одного и того же, заставляющий нас привыкнуть к нему. Так событие замыливается, теряет свою остроту, а сам образ становится «знаковым», «культовым», почти брендом. И чем более он ярок, сенсационен, тем быстрее он приедается и тем способствует забвению. Когда мы восхищаемся тем, что способны созерцать нечто в «реальном времени», мы забываем, что это восхищение возможно только потому, что на деле мы не находимся там, где происходят события. «Реальное время» – это время, производное от фото- и кинотехники, от механизмов нашей памяти и предвосхищения, оно не реально, а призрачно. Против опосредования культуры и движется «искусство». В «Бедствиях войны» Гойа создает особую шероховатую технику офорта, не позволяющую зрителю погрузиться в удовольствие; Пикассо в «Гернике» творит целую самостоятельную образную систему, которая не дает бомбардировке испанского городка немецкой авиацией вписаться в гладкую

систему знакомых образов культуры. Эти образы, работают на невозможности выказать то, о чем они говорят, на некоем абсолютном разрыве, который они же и репрезентируют. Можно вспомнить, например, выразительные кино-образы холокоста, созданные Ланцманом и Рене, где нет ни одного кадра «реальных» жертв, «мертвых тел», но есть нечто другое – застывшие пейзажи, особым образом снятые лица выживших. Искусство здесь подчинено тому же глубокому этическому парадоксу, что являет и фигура свидетеля войны, преступления. Например, свидетель массовых казней – он не свидетель, потому пережил то, что не пережили все остальные, но от этого он не имеет права не говорить о том, что произошло. Требование говорить о том, чем говорить нельзя, о том, вне, снаружи чего мы всегда находимся, и есть то этическое требование, которое острием направлено в самый центр культуры. Этот разрыв порождает и удерживает нашу тревогу – а значит, событие длится, оно воскресает в памяти, и постепенно заставляет нас пережить главное, что может случиться с человеком культуры при встрече с чем-то настолько непередаваемым и акультурным, как война: мы имеем шанс пережить катарсис, очищение.

РАБОТА ПАМЯТИ

Али Хамраев

Как стать свидетелем того, свидетелем чего ты быть не мог? Что такое память войны у того, кто не воевал?

Концепт погружен в самую плоть рассказа, свидетельства о том, как формировалась память войны, превратившаяся в сценарий фильма и в сценарий судьбы.

Есть несколько стадий формирования такой продуктивной памяти. Первая – смерть отца. Вторжение этой смерти в плотную и налаженную реальность жизни семьи мальчика. Смерть отца происходит где-то далеко, не на глазах, она не переживается, о ней говорит лишь «знак», «послание» – похоронка, и эта похоронка меняет все. В жизни открывается бездна зияния, внутри которого начинает создаваться своя отдельная система знаков и обозначений, пристегивающая ситуацию здесь и теперь к событию, произошедшему уже в прошлом за тысячи километров от дома. Например – костюм, шляпа, галстук, ботинки отца, которые мать отказывается продавать. Эти вещи репрезентируют собой отца, его обязательное возвращение домой, а потом буквально дают сыну вторую жизнь – мать продает вещи, когда ребенок тяжело заболевает. Изнутри этой памяти отца, памяти о его смерти, и – памяти о войне, ребенок получает вторую жизнь.

В юности сын, как водится, оказывается «не достоин» памяти отца. – Но вина лишь усиливает эту память, и требует некой компенсации, то есть требует вернуть отца из неизвестности. По просьбе матери сын отправляется искать могилу отца. Могила – сакральное место. Подходя к ней, сын как бы приближается ко времени отца, и люди, встречаемые им на пути, служат знаками такого приближения – они свидетели смерти отца, и сквозь них, как сквозь время, отец становится почти виден. Устанавливается точная дата смерти отца. Отец умер через неделю после того дня, что указан в похоронке. Завершив поиски, сын дарит отцу еще немного жизни – жизни после смерти. И эта полученная в избытке жизнь требует себе продолжения, сын должен во что-то инвестировать ее, компенсировать свое прежнее небрежение. Полная компенсация за забвение – это прославление отца. Сын дает обет снять об отце фильм. На тот момент он и сам оформ-

ляется, обретает идентичность: он – режиссер. Чтобы получить возможность снять странную и непонятную картину об отце, он соглашается снять еще и фильм о войне в Афганистане. Но едет он в Афганистан не только, для того, чтобы соблюсти свой договор с властями, но и чтобы самому почувствовать, что такое война. Характерно, что прямой опыт войны, вызывает у рассказчика омерзение, а вот память войны остается священной. Формируясь, у того, кто не был ее свидетелем, память войны на деле является памятью о Великом предке, лежащем в земле. Ибо родная земля – это и есть могилы предков, а место могил предков и есть родина, то есть то, что надо отстаивать в борьбе, за что надо отдавать жизнь, чтобы потом лечь к предкам. Так война входит в самую родовую структуру, а родовая структура является структурой родовой, архаической памяти, а родовая память является еще и памятью отдельного человека о себе, о том, кто он и откуда. Последний штрих этой структуры – внук самого рассказчика, льющий вино даже не на реальную могилу, а на то место, где, он считает, погиб его прадед. Это окончательное уточнение – перед нами миф, это воссоздание цельной родовой линии, идущей от корня Умершего предка, минующей рассказчика и уходящей в будущее, к потомкам. Но это также и довольно полный рассказ о жизни самого рассказчика, его биография, охватывающая и его детство, и зрелость. Миф об умершем Отце, миф о героическом предке и миф о войне за родину есть структура самой личности, ее «память себя». Замыкание в кольцо детства и старости, уже и есть это и есть окончание работы памяти о том событии, которому никто в этом рассказе никогда не был свидетелем.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ

Рохини Сахни

Болливуд как место создания памяти коллектива

Болливуд считается чем-то почти смешным. Однако статистика говорит о том, что большая часть – около двух миллиардов – билетов в кино, продаваемых в мире, выпадает на продукцию Болливуда. Почему Болливуд так велик? Это не просто «развлечение». Он выполняет определенную функцию в структуре индийского общества. Он отражает структуру коллективной памяти – не того, чему я был сам свидетелем, а того, о чем мы можем вспомнить вместе, хотя мы этому свидетелями и не были. Болливуд втягивает в себя события из общественной жизни, например, военный конфликт Индии с Китаем, преобразует их в некое музыкально-нарративное-танцевальное действо и возвращает обратно. И люди помнят об этом конфликте, уже в образах Болливуда. Более того, люди забывают и об образах Болливуда, но не о его «песнях». Получив с экрана ту самую песню, которая, на наш взгляд, выглядит столь смешной, увязав ее с событием своей коллективной жизни, люди начинают воспринимать ее как призыв к воспоминанию. Теперь песня – спусковой крючок. Услышав ее, мы – ты, я, он – вспомним одно и то же из нашей общей реальности. Таким образом, Болливуд – это умная и гибкая система подключения к памяти групп и больших объединений людей и, кроме того, эта машина улавливает и то развитие действия, ту расстановку акцентов, героев, антигероев, которое желанно таким группам. Например, мы хотим жить мирно с соседями-мусульманами. Болливуд сделает фильм о мусульманине-футболисте, который по-настоящему служит Индии. Так мы преодолеваем собственный конфликт. Заказчиком этого душевного процесса выступает не государство, а сам зритель в его обыденной повседневности. Собственно на эту память и на это исполнение коллективного желания Болливуд и продает билеты, поэтому его зрелище и оказывается востребованным «коллективами». Это похоже на общее сновидение, чрезвычайно чувствительное к желаниям масс. Чувствительное до такой степени, что способно даже отказаться от всех своих приемов. Например, когда Болливуд снимает фильмы о терроризме – он отказывается от песен и танцев. Терроризм – это не воспоминания, он бли-

зок. Более того структурно он не связан и с мифотворчеством групп, он не дает Большого Врага и не дает Героя, потому что от бомбы могут погибнуть отдельные люди, вне зависимости от групповой принадлежности, погибает каждый. И коллективное чувство здесь состоит в том, что песни и пляски здесь неуместны и оскорбительны. Отражая это коллективное чувство Болливуд начинает снимать «не по-болливудски» (использование хроники, репортажной съемки) – чем достигает того же эффекта: он воссоздает и присваивает коллективную память о терроризме, выстраивает систему образов, в которых люди будут вспоминать свое недавнее прошлое, и многомиллионными тиражами продает на это зрелище билеты.

ВОЕННОПЛЕННЫЙ

Эрнст Ройс

«Советский военнопленный» как отдельная и очень страшная категория войны, обреченная почти столь же мучительной участи, что и «еврей». В этом смысле «немецкий военнопленный» – пленный немец в России – несравнимая и гораздо менее безопасная категория. На основе семейных хроник.

Одна фотография из Винницы и воспоминания деда автора – тоже Эрнста Ройса – о Виннице во время войны открывают поле для выяснения и разбирательства. Неожиданно далекое и незнакомое место на карте становится близким и чрезвычайно важным. Это – место преступления, в котором, возможно, участвовал дед рассказчика. И это преступление связано с понятием «военнопленный». Кто такие «военнопленные» – плененные звери? Так хочет их представить нацистская пропаганда. Но стоит показать этих людей кому-то из немцев, как те отказываются видеть в них недочеловеков, и удивляются, насколько русские – люди. Тогда-то министерство пропаганды и свертывает программу экскурсионных визитов граждан Рейха в лагеря. «Советский военнопленный» – это почти то же, что «еврей», не менее страшная категория, зачисленный в нее человек предназначен даже не к истреблению – к ускоренной истощением и болезнями гибели.

«Немецкий военнопленный» – сюжет, связанный с той же Винницей, и тоже с дедом – со вторым дедом автора, фронтовым солдатом, никогда не бывшим большим поклонником нацизма. Но именно он оказывается в Виннице после войны в качестве пленного Красной Армии. Его положение иное, чем у советских солдат, еще недавно содержавшихся там. Только объективные сложности бедственного положения в самом СССР – с продовольствием, условиями жизни и т.д. – приводили к высокой смертности немецких солдат, не их целевое истребление. Целевым становилось истребление пленных в ином случае – в случае все тех же «советских военнопленных», отправляемых в качестве врагов народа в сибирские лагеря. Таким образом, «советский военнопленный» – это какая-то почти абсолютная и почти безвестная жертва – жертва двустороннего военного преступления, о которой почти невозможно ничего сказать. У

самых жертв нет никаких доказательств – только собственная память, собственные воспоминания. Такие письма-воспоминания и доставляются почтой внуку того немца, который сторожил их в Виннице. Этот внук и становится свидетелем их жизни и, точно в компенсацию – за вину дедов, пытается донести слово правды о жертвах.

«АУШВИЦ – ЧТО Я ЗДЕСЬ ДЕЛАЮ?»

Микола Гринберг

Аушвиц – не как музей, а как место продолжающейся травмы, опыта и страдания, которые нельзя передать на словах. Фотографический проект – как ответ на единственный вопрос: «Что я здесь делаю?»

Для осуществления этого проекта, кажется необходимым, чтобы человек что-то знал об этом месте, имел о нем хотя бы смутное представление, пусть и школьного происхождения. И в конце концов обладал хотя бы одной причиной сюда приехать. Причина может быть любой. На вопрос, что «ты здесь делаешь?» ответ, как правило, начинается с того, почему когда-то, в определенный момент времени я решил сюда приехать. Кто-то потому что слышал и решил узнать больше, кто-то – выясняя для себя метафизический вопрос: «Как могли люди отказаться защищать свое достоинство?» Это – начало ответа. Конец, как ни странно, наступает очень быстро, без каких-либо особых сюжетных вариаций. В ответ на «и что же?», то есть по сути «а как теперь, какой ответ дал тебе Аушвиц?» появляется только – «я плачу», «я не могу сказать, но не знаю, как я это смогу пережить»... Эти короткие вопросы и ответы, точно стихотворения, появляются под смутными фотографиями, смазанными специально. По контурам, по пятнам, по распределению плохо видимого и смутно угадываемого мы все еще можем приблизительно понять, кто говорит, каков возраст и пол говорящего, его или ее характерные черты, но этот человек будто съедает тем, что невидимо, тем, что стоит вокруг него – Аушвицем. Аушвиц непередаваем, незабываем, неуходящ, непреодолим. Первая и ранняя смутная идея о нем, которой, по сути, всегда отмечены рассказы и воспоминания других: Аушвиц как далекое прошлое неожиданно оборачивается Аушвицем как неизменно всплывающим ужасом, опытом непередаваемого, абсолютного... Как если бы приехавшие зрители в театре, кое-что слышавшие об этой пьесе, оказались пронзены абсолютным ужасом и состраданием, прикованы к месту, плакали без остановки. Между Аушвицем и посетителем – грань истончается. От этого вопрос «что я здесь делаю?» меняет смысл. Зритель превращается в свидетеля, а затем почти в со-участника. Вопросом становится – «Что я здесь

делал?». При реальном столкновении с Аушвицем, «я» человека оказывается лицом к лицу с чем-то настолько огромным, что всякое настоящее время перекрывается этой волной. Более того, после такого столкновения – процесс превращения этого опыта в прошлое больше не предвидится. «Лучше» не будет, тревога не отпустит, забвения не наступит, пережив ужас и сострадание, катарсис, ты уедешь оттуда измененный в самых началах своего сознания – в способности чувствовать, понимать, действовать, быть самим собой. Это – пройденный полный круг, войти в который может любой, кто «хоть что-то слышал и имеет хоть малейшую причину физически приехать». Если этого нет, Аушвиц, вероятно, останется невидимым. Таким образом, мемориалом, памятью об Аушвице, его свидетелями становимся мы сами – и именно эти образы, этот невидимый мемориал и фотографирует человек, чье детство было полно рассказами бывших узников этого лагеря.

ПОТОМ

Йон Олафсон

«Потом» – это состояние, наступающее после события-катаклизма. И в этом «потом» начинают действовать силы с одной стороны «мифотворчества», с другой – «правдотворчества». «Мифы и правды» – два инструмента, с помощью которых описывается политическое пространство, в частности пост-советское, оставшееся после СССР

Пост-советское пространство – это пространство после некоего события-катаклизма, отменившего старые регулировки и формуляры, снесшего СССР с географической карты. Но событие это – невидимо и неслышимо. Взрыв прошел неслышно. Так, что всё, что происходило в республиках, например, в Прибалтике, разворачивалось уже в пост-ситуации, исход которой был ясен. И тем не менее участниками событий явно руководило нечто большее, чем просто желание отсоединения – они хотели пожертвовать собой, видели себя борцами за добро со злом, «грубой силе» государства они противопоставляли «духовную силу» сообщества. По сути, они были участниками известного сценария, мифа о Соппротивлении, о войне добра и зла, народа и государства, который активно творился на месте. Такой «проактивный миф», не очень связанный с «правдой», создается обычно тогда, когда у людей на политической сцене отняты всякие легальные полномочия добиться своего. Этот миф может потом встретиться с «ретроактивной правдой», которая начинает выяснять подробности и бросает вызов установленным формулировкам. Это может быть опасный процесс – когда он связан с личной мстостью. Пример тому Грузия – сначала, вовлеченная в проактивное мифотворчество, она воевала с СССР как «грубой силой», а затем развязала «правдивую» войну против сепаратистских движений Абхазии, вовлеченных в точно такое же мифотворчество по поводу своей «духовной силы».

Есть и еще два типа поведения: ретроактивное мифотворчество и проактивная правда. Пример ретроактивного мифотворчества хорошо демонстрирует миф о Сталине или о победах СССР, который творятся сегодня. Этот миф о прошлом творится именно потому, что определенные индивиды не способ-

ны признать правду о себе. С другой стороны – и это последний вариант – может возникнуть и проактивное правдотворчество, наиболее сложная позиция из всех. Это когда, например, человек, восстанавливая правду о своем прошлом, вынужден сегодня бросать вызов ретроактивному мифотворчеству, при этом сталкиваясь с обвинениями в том, что он представляет собою опасность для страны, для ее «идентичности» и «целостности».

Мифы и правды. Первые удерживаются на системе верований, вторые ищут доказательств. Это два разных словаря, два разных типа поведения. Не один из них не истинней другого, оба необходимы для существования политической сцены в стране. «Ретро» и «прото» это два направления движения, вперед-назад, которое на деле – не что иное, как работа «активной памяти»: общей, индивидуальной, личной, сценарной, документальной, движущейся из будущего в прошлое, из прошлого в будущее, памяти, создающей иллюзию настоящего, и способной приводить к войне. Ибо война в каком-то смысле и есть то событие-катаклизм, которое стирает и старые правды, и старые мифы, и старое будущее, и старое прошлое, открывая дорогу тому, что будет после.

«СО ВСЕХ СТОРОН»

Джеффри Уолин

Фотография как возможность рассказать историю со всех сторон, преодолеть травму войны и увидеть ее последствия.

«Неудобные истории» – заглавие первой книги Джеффри Уолина об американских ветеранах вьетнамской войны, рассказывающих «нетипичные», уникальные, собственные истории о войне, истории, которые сами рассказывались через них. Второй проект – «Со всех сторон», включил в себя рассказы и по ту сторону «нас» – рассказы вьетнамских ветеранов, причем как «государственной» армии, иммигрировавших потом в США, так и бывших вьетконговцев, повстанцев, живущих теперь во Вьетнаме. Каждая история – это портрет человека и короткий рассказ от первого лица о наиболее важном для него моменте войны, дополненный абзацем о том, что стало с ним дальше, о том, что из войны перешло в мирную жизнь. Фотография воссоздает историю каждого, она устанавливает особое пространство внимания вокруг человека, в этом пространстве человек существует не просто реально, но символически. Фотографии Уолина полны символов, подобно картинам старой живописи. Эти символы говорят о войне и о том, что случилось после нее даже более убедительно, чем вербатим-рассказ, помещенный рядом с фотографией. Исковерканные пальцы одной руки и протянутый зрителю мандарин в здоровых пальцах второй – это один из моментов портрета полковника северовьетнамской армии, рассказывающего об атаке на американцев. Или огромное количество сувениров, игрушек вокруг ветерана армии США, одетого в старинный солдатский костюм и держащего в руках антикварное ружье с пыжом, – образ, создающий ощущение, что война – это игра в детской комнате. А рядом рассказ о страшном пьянстве в армии, история пережитого алкоголизма. Каждый снят как бы внутри собственного сознания, сознания, все помнящего, никуда не уходящего из точки отгремевшей войны и в то же время словно ищущего друг друга, будто бы все они – части распавшегося целого, которым необходимо встретиться.

БЕДА

Резо Габриадзе

Мировая война как тотальное состояние человечества от начала начал цивилизации. Мы и сейчас находимся в состоянии войны – Третьей мировой.

Третья мировая война не похожа на войну, к которой мы привыкли, на «классическую» войну с противоборством двух сторон. Прежде всего война покинула сферу «мысли». На данный момент истории невозможна, например, такая фигура как Наполеон – человек, одновременно искусный и в сражениях, и в остроумии, способный на глубокие сентенции, афоризмы, философствующий практик. Не возможен и героический жест – яркий, почти театральный, как у Багратиона. Невозможно и глубокое философическое созерцание мира при свете войны – как у Пьера Безухова. Война, в которую вовлечены мы все, не рождает философии, героической позы, фигуры и даже мысли. Дело в том, что мы даже не догадываемся, что эта война идет. И, по сути, главной мыслью современности – одной из немногих, что еще остались – является мысль о том, что война эта уже давно идет и что мы в самом центре ее. Эта война бессознательна. Она имеет структуру торнадо. В центре такой структуры всегда мир и комфорт, ее действие идет по краям, за или на границах сознания. Мы не переживаем катастрофичности этой войны – наоборот, будучи ее жертвами, мы сами лишь наслаждаемся комфортом. И тем не менее, разрушения, которые она приносит миру, огромны. «Любой наш хозяйственный магазин» – это орудие уничтожения среды нашего же обитания. Эта антропологическая война, которая сродни той, что 4'000'000 лет назад велась первым человеком с медведем – «за пещеру». Та война, самая яростная и долгая, шла за доминирование человека как вида. Наша война такая же. Ее начало – Ренессанс с его идеями о пересоздании человеком мира. Одно из венчающих событий этой войны – отравляющий газ, пущенный под деревушкой Ипр во Франции. Имя этой войны – война человека с творением. Сейчас эта химическая, физическая, научная война уже развернулась окончательно, ее поля сражений – в супермаркетах, где мы идем со своими груженными тележками, в наших заставленных квартирах, где одним только избытком вещей мы воюем со всем, что было сделано не нами,

не для нас, не для нашего комфорта. В этой войне, где человек уже не слышит взрывов, и не чувствует боли и травмы, уничтожается мир, и многие собственно человеческие качества. Среди них – и мысль, потому что внутри комфортного состояния мы не чувствуем того, что происходит, и не можем ничего сказать о мире всерьез. Это и наши чувства – любви, сострадания, приглушенные постоянным насилием, которое мы созерцаем по ТВ. Это и чувство красоты. Ведь мы не способны, даже не должны, видеть красоту не нами и не для нас сотворенного мира. Для нас всё «отравлено» – и бабочка, и цветок, и ветка, точно, и правда – ничто не пощадил химический газ. Теперь уже и не нужны газы и концлагеря. И лишь постоянная тревога во взгляде людей, которая особенно видна при крупных планах на телекартинке, фотографиях, выдает общее ощущение – здесь что-то не так. Ибо ответом на такую войну, идущую на периферии анестезированного сознания, может являться только соразмерный катаклизм – катастрофа мирового значения, где наравне с человечеством будет гибнуть и природа.

КАРАВАН МИРА

Наталья Табачникова

Караван Мира как создание средствами путешествующего уличного театра особого пространства выхода из войны, необратимого изменения сознания, которое больше никогда не сможет вернуться к прежним категориям.

Если, цитируя Резо Габриадзе, мир действительно находится в центре торнадо и лишь от этого испытывает уют и комфорт, то есть времена и попытки изменить что-то в самом корне такого положения. Есть времена и попытки прорваться вновь к самой сути человеческого счастья и человеческого добра. Именно такой попыткой и стал Караван Мира, особое, создаваемое усилиями и техниками уличного театра пространство измененной реальности. Там, в этом утопическом пространстве, не действуют законы коммерции, никто не платит за кресло в театре и зритель оказывается внутри действия только потому, что шел мимо. Оказавшись на улице, театр начинает перестраивать ее под свои нужды. Оказавшись на улице в позднем СССР, этот театр удивительным образом преображал знакомый тоталитарный пейзаж в странную иллюзию, галлюцинацию, сновидение – пионерки, рабочие, колхозницы на фоне странной формы огромного яркого шاپито, где старым шрифтом написано Театр Фуцборн. Оказавшись «на Западе» фестиваль делал то же самое – люди воспринимали его как нечто вроде Вудстока, съезжались со всех стран мира, чтобы оказаться в его пространстве. В этом пространстве отменялись обычные перегородки между людьми, государствами, организациями. Если что-то оказывалось невозможным сделать из-за того, что такой «тропы» в обществе еще нет, то эта тропа прокладывалась общими усилиями. Вот одна из цепочек: в СССР нет домиков на колесах – где есть? – в Югославии – купить? – нет денег – что хотите? – чугуны – где чугуны? – в Череповце – что хотите? – бесплатный спектакль на заводе – за это вагон чугуна дадите? – Чугуны – в Югославию, домики – в парк имени Фрунзе. Эти же цепочки вовлекали в свои последовательности и серии политических событий: Прага. В Праге есть драматург – драматург – правозащитник – правозащитника судят – нужен адвокат – адвокат – деньги, денег нет – что хотите за деньги? – спектакль: играем спектакль – даете

деньги, деньги – адвокату – адвокат – к драматургу – драматург – на свободу. Драматург – Вацлав Гавел. Вацлав Гавел через два месяца – президент Чехии. В одной из таких цепочек, дойдя до Берлина, Караван встал между Золотым ангелом и Бранденбургскими воротами. Через два месяца пала стена. Это и случайности и, можно сказать, «окончания цепочек Каравана», устроенного очень вовремя, в правильный удачный момент, и ставшего как бы моделью изменения общества всей Европы. Организация такого особого измененного пространства встраивает людей, вещи, события в особые ряды и последовательности. Как абсолютная тотальность оно выводит человека из привычного строя мыслей, чувств, ограничений. В этом пространстве открывается та первая мысль, что человек везде одинаков, что границ не существует, невозможное – возможно. Это – пространство расширения, пространство праздника, и одновременно ускоренное пространство Больших Перемен, пространство роста. Этим пространством менялся и завершался мир, ведший отсчет от границ и разграничений Второй мировой войны, их перерастая.

Гораццо Черток

Уличный театр как опыт герильи

Внутри мира комфорта, мира, в котором человек старается отгородиться от всего и от самого себя, некоторые «безумные люди» начинают войну. Эта война идет за то, что таится внутри всякого человека – красота, поэзия, мысль. Самое плохое – стараться выгородить для этой войны особые пространства, пусть даже замечательные помещения, где театр, красота, поэзия должны существовать по расписанию. Эта стихия должна коснуться каждого. И война за это идет всерьез и сознательно.

Современное состояние человечества – экономия за счет масштабы производства: производить нечто имеет смысл только массово – многомиллионно и миллиардно. При таком подходе уничтожаются, замирают вещи немассовые, уникальные. В этом смысле они становятся ненужными, слишком затратными – как для производства, так и для восприятия. Одна из таких вещей – театр, он тоже становится ненужным. На его место приходит массовое искусство кино и ТВ, которое каждому человеку назначает его долю общей культурной баланды. Затратные, уникальные вещи – это всегда финансовая катастрофа. И сегодня они исчезают или остаются для элит. Но нужен театр людям, поэзия нужна людям – даже если всем ходом мировой культуры их принудили думать обратное. И поэтому театр должен выйти на улицы, отказаться от дорогостоящей производственной машины ради того, чтобы *быть с людьми*. И вот, небольшие боевые группы уличных артистов начинают атаковать людей. Боевая группа захватывает пространство и время, хозяевами которых являются люди на улицах. Следуя своим техникам, своему боевому искусству, которое отчасти базируется на выкладках настоящих военных стратегов, актеры начинают овладевать вниманием. Останавливать шаги прохожего, разворачивая его к себе. В этой «герилье» неожиданными помощниками оказываются такие стратеги партизанских войн, как фон Клаузевиц, Че Гевара, и Мао Цзэдун. Актеры создают особый микроклимат для своей невольной аудитории, не платившей за свои билеты, и неожиданно переместившейся в иной мир, в иные человеческие взаимодействия. Завоеванная аудитория, завоеванная и остановлен-

ная улица оказывается в ситуации красоты и поэзии, то есть настоящего мира, подлинно раздаваемого окружающим в качестве трофея.

“ЛУК И ЛИРА”

Дарья Лунгина

Сходство лука и лиры – единство войны и мира. Греческая мысль об абсолютном, пронизывающая самый центр истории Европы XX века.

Возможно ли в наше время прикоснуться к древней мысли – той, что происходила не от логических выводов и посылок, а из бесхитростного раннего вглядывания в мир как он есть, к той мысли, что одушевляла греков и послужила самой основой европейской цивилизации? – Вполне.

И XX век оказывается к ней куда ближе, чем думают, он собственно явился воплощением ее стихии без всяких посредников. Мысль о том, что война приводит в понятие мира – стара, как сама Европа. Ведь мир это не просто состояние не-войны, это еще и общая консолидация, это принуждение противоборствующих общественных сил к миру. Причем такая консолидация, вплоть до установления диктатуры, часто происходит именно в свете войны. Война и мир оказываются едины в понятии. Гераклит – автор знаменитого афоризма «Война – отец всех вещей», высказал еще и изречение о сходстве лука и лиры. Это сходство заключается не в простой похожести двух предметов, но указывает в сторону того, что вообще ни на что не похоже, на само «общее», как его понимали греки. «Общее», «абсолютное», «единое», понималось ими как ослепительное, страшное, божественное, ни с чем не сравнимое. Это катастрофическое для человека «Единое» сводило в себе то, что не может быть сведено никогда и ни при каких обстоятельствах, что для человеческой мерки совершенно противоположно, но что на деле является самым миром, самой мерой всего.

Любые интерпретации этой мысли в духе Гегеля (единство и борьба противоположностей) или Гете (злая-благая сила Мефистофеля) не охватывают силы и глубины раннегреческой интерпретации. Точно так же не делает этого и пафос «иронического разума» XX века, который в лице Джорджа Оруэлла объявляет интуицию единства войны и мира самой сутью абсурда и насилия тоталитарного государства с его лозунгом – «Мир есть война». Ни XIX век, ни либеральный разум века прошедшего не могут встать вровень тем событиям, которые охватили

планету ныне и заявили о себе с какой-то абсолютной силой. Знаковый роман советского писателя Владимира Богомолова «Момент истины» оказывается неожиданно куда ближе к этому подлинному видению. И он оказывается способен взглянуть в глаза наиболее яростному выражению этой мысли – ее явлению в сталинизме.

ЙО //ЗВУК АТАКИ

Игорь Яцко

Пространство нового театра как пространство войны за абсолютное измерение смысла, которое в жизни человеку опасно. Сотворение актера-воина.

Театр, о котором идет речь, это не-театр, или театр как чистое событие, прямое действие, не имеющее традиционных характеристик – роли, сцены, актера, пьесы. Такой не-театр нацелен на создание пространства, где играют не актеры, а смыслы. Это театр не «характеров», а театр «идей», за всполохами, движениями, переменчивостью и разительностью которых мы лишь наблюдаем, при помощи «актеров». Актер не-театра смещен относительно той речи, что произносит. Это не «его речь», не речь «его» персонажа, это речь без права собственности, которую он производит в том пространстве, которое удерживает собственным телом, находящимся в покое. Такая речь требует отказа от привычно «человеческого». На место, например, традиционно лирически-эмоциональной интонации, обычно представляющей «чувства» героев, приходит так называемая «утвердительная интонация». Такую интонацию – в трех регистрах (высоком – среднем – низком) – актеры вырабатывают на особых тренингах, и она действует как чистая звуковая атака, направляемая в точку горизонта, окаймляющего и актеров и зрителей. Из всех слов постепенно остается один, первый звук – «йо», «йе». И в манере произнесения этого жесткого звука затем произносится и каждое слово строки. Так звуком прочерчивается «радиус действия». Строка разбита на такие слова, каждое из которых действует как оружие – дротик, копьё, стрела. Уже на другом уровне работы эти разобранные элементы связываются актером в особую мелодию, «кантилену», которая не похожа ни на какую голосовую певучесть. Поднимаясь на звуке слова общий смысл говоримого как предельная связность слов, а не ее готовая данность, создает смысл как акт усилия, и как награду, и, в конце концов, как триумф. – Перед нами своеобразная битва, построенная по правилам боевого искусства.

Смещенность актера в отношении собственной речи смещает его и в отношении собственного тела. Тело актера не вобрано в себя «персонажем», не принадлежит роли, но и актеру

оно уже тоже не принадлежит. Оно само по себе. Актер может «играть» голосом, а тело будет недвижно. Следующий шаг – дать этому телу движение. Движение это не будет психологическим, «выражающим» характер и его намерения. Это будет движение атакующее, наносящее удар, уходящее от удара, принимающее его, комментирующее подьемы и спады самой речи – что сродни живой традиции восточных единоборств. Актер не-театра движется как воин. И пространство, создаваемое им, выводит театр из какой бы то ни было обыденности. Добываясь необыденного существования смысла, актер добывает смысл усилиями почти военной стратегии и выносливостью близкой к солдатской. – Атака, победа, битва, триумф, – пространство не-театра оказывается классическим пространством архаической войны. Но, в отличие от этой войны, он не нуждается в трупах, в реальных смертях. Перед нами буйство энергий, возвышение и потеря их. Для них «трупы», раны, стон – слишком грубая репрезентация. Эссенция древней войны, войны воинов – абсолютное наслаждение энергией, блеском и сиянием смысла, смыслом как победой. Эта странная, но отмеченная самими древними, связь войны, поэзии, и наслаждения – основа работы над постановкой Анатолием Васильевым главного военного произведения европейской культуры, – гомеровской «Илиады». Репетиции спектакля шли ровно столько же, сколько шла сама троянская война. Спектакль длится два с половиной часа.

“ВОЙНА И МИР”

Владимир Мартынов

Война между словесным и бессловесным как суть той метафизической войны современности, для которой все остальные войны являются только следствиями.

«Война и мир» – это название романа Толстого, слишком большого для прочтения. Остается – заглавие. *Война и мир*, два слова, которые на самом деле сводимы ко вздоху и выдоху. Организация этого дыхания в двух словах на различных тестовых панно дает два варианта мироздания – тот, где больше ВОЙНЫ – для мальчиков, где больше МИРА – для девочек. *Мальчики* и *девочки* – два пути цивилизации, два типа мышления: словесный и бессловесный. Первый, словесный, путь берет слово, как смыслонесущую единицу, и ставит ее между человеком и реальностью. Дальше слово позволяет протягивать логические связи между вещами, выстраивать «порядки вещей», ставить вопросы и получать ответы. Это хорошо показано в предпоследней «мужской» главе «Улисса» у Джойса, где герой проходит через систему вопрос-ответ, как в катехизисе. И там же у Джойса показан и альтернативный путь – женский. В последней главе о Молли слова постепенно теряют свою смыслонесущую функцию, становятся какими-то биологическими, физиологическими процессами, отражающимися в потоке сознания, а смысл, растворенный в потоке, то касается, то отступает от нашего сознания. Это – путь Молли, но также и путь «Алисы», шагнувшей из-под власти слов в некое «Засловье». Тогда как мужской путь, начиная с Засловья движется ко все большей логичности, все большей проговоренности мира. Это так даже у китайцев, написавших вроде бы единственную книгу в мире, где началом не было слово. Ведь в основе Книги Перемен лежит черта, а черта взята из природы – легендарный император Фу Си, разгадал на панцире древний черепахи черты божественных гексаграмм. В этой книге слова – лишь комментарии к линиям, а линии – взяты из природы, но в конце концов именно комментарий решает, что тебе предстоит делать. И в конце концов слова – та главная реальность, с которой будет иметь дело человек. Путь мальчиков – выпадение из реальности, из актуального проживания в сфере слов-отражений, чтобы дальше управлять реальностью

посредством разума. Слово отделяет нас от реальности.

Однако современность характеризуется новым открытием присутствия тех сил, что реально владеют планетой – природные катаклизмы тому подтверждение. И если цивилизация «слова» отстроила себя с 5 века до н.э. – то есть с начала так называемого «осевого времени», явившего Платона с Сократом, Конфуция и указавшего человеку путь к овладению миром через его слово, – то теперь собирается «контр-осевое» время, где, скорее, важнее молчание, чем слово, актуальное проживание реальности, чем власть над нею. Произойдет какое-то кардинальное антропологическое изменение, которое, впрочем, чается и в любых духовных практиках, желавших расстаться со словом во имя абсолютной реальности. Это не возвращение к состоянию зверя, а скорее, восхождение к состоянию «бога», если следовать стиху Клее, говорившего о двух вершинах, где царит полная ясность и сумрачной долине между ними. Эти вершины – *звери* и *боги*. Первые не знают, что они не знают, вторые – знают, что они знают. В сумраке между ними, в промежутке вечного непочоя – люди, ибо люди знают, что они не знают. Путь восхождения человека сейчас ведет не к телесности зверя, а к богам, к духовному состоянию молчания, где слово вновь превращается во вдох и выдох. В мировых катаклизмах и катастрофах, которые становятся знамениями прихода этого нового мира, и ведется новая война. Война старого и нового, словесного и бессловесного, война Фу Си и Алисы.

ОБРАЗ ВИНОВНОГО

Елена Гуськова

Гражданская война в бывшей Югославии как результат деятельности международных организаций и СМИ.

В представленной автором интерпретации событий, война в Югославии – совершенно новая и необычная война. Она решалась не на месте реальных сражений и не за столами переговоров, она решалась в СМИ. Что показало – сегодняшний мир это прежде всего «всемирно историческая сцена», за которой пристально наблюдает внешняя аудитория, вооруженная средствами массовой информации и потоком поставляемых ей образов. Акценты на образах, подписи под фотографиями, манера информирования решают вопрос о вмешательстве этих третьих внешних сил, бомбардировках, эмбарго, вызывая сочувствие или гнев аудитории. Именно на этом метавоенном уровне подачи образного материала Сербия и была назначена «виновной». Подобно тому, как это делается в киносценарии, ей была приписана определенная роль. Помимо откровенной дезинформации о том, кто стреляет, в кого стреляют, путаницы с фото-образами: что снято, откуда оно и о том ли свидетельствует образ, о чем сказано в подписи, – особой интерпретации подверглась и сама война. Эта интерпретация шла в несколько этапов: представить гражданскую войну как войну «коммунистической диктатуры» и «демократий», представить югославских руководителей как «твердолобых коммунистов», признать за Сербией основную вину в том, как складываются события, и из этого образа «виновного» уже создать далее образ «врага», врага человечества, с которым надо бороться вооруженными силами. Югославский конфликт прописывался далее по риторике Второй мировой войны; образы-подобия Холокоста, геноцида постепенно стали примериваться к Сербии. Гаагский трибунал, учрежденный для расследования военных преступлений, – это, по сути, закрытие темы того, что случилось в Югославии, закрепляющее образ событий за их официальной теле-радио-газетной версией.

АМЕРИКАНЕЦ

Крис Меррилл

Миф о происхождении нации может быть представлен и через историю собственного предка. Роджер Уильямс – знаменитый предок рассказчика, вошедший в историю Америки в качестве одного из основателей ее типа мышления, и по его жизненному пути восстанавливаются определенные мифогенные черты американца «вообще».

Американец, прежде всего, – это беглец. Кроме того, этот беглец чаще всего бежит от войны, в своем бегстве он постоянно выходит из нее и ищет иной жизни вдали от прежней родины. Он уходит из войны как Роджер Уильямс, боровшийся за право «свободно исповедовать», и бежавший от английской ортодоксии в Новый свет. Эту раннюю, мифогенную черту можно увидеть в американцах и теперь: даже начиная войны, они всегда думают «о стратегиях выхода» из них. Другая мифогенная черта американца: самостоятельное формулирование общечеловеческих принципов общежития, – принципов, основанных на здравом смысле, а не на ортодоксии и догме. Например, самостоятельное формулирование Роджером Уильямсом принципа «отделения церкви от государства». Этот принцип, со временем воспринятый Америкой, являлся основным принципом Просвещения, но за его отстаивание Уильямса изгнали тогда не только из Старого света, но и затем из англизированного Бостона. И тогда Уильямс уходит в «настоящую» Америку, то есть ту, где он может жить по-новому, и делает он это с помощью индейцев, чьи языки и образ жизни он осваивает. Он отправляется в Род Айленд, в лес, вместе со своими проводниками. Отсюда и третья черта Американца – он поселенец, его новая жизнь обретается через взаимодействие с местным населением, или с соседями, среди которых предстоит жить; через взаимодействие с «другими». Он должен понимать тех, кто не таков, как он сам. Отсюда – обучаемость американца, терпимость к другим культурам и языкам. И кроме того – желание передать о них сведения в свой мир, закрепив его в акте писательства. Роджер Уильямс – предок рассказчика – составил словарь индейцев (“A Key into the Language of America” (1643)) и дал их жизнеописание в прекрасной прозе, ставшей класси-

кой. Американец больше чем другие нации является в основе своей еще и писателем в современном смысле слова: он изначально поставлен в позицию необходимости описания другого, чужого. Писательство в корне отлично от журнализма. Оно стоит не только на «своей» точке зрения. Суть писательства в том, что во всех событиях писатель знает, что знает не все. Любой акт, даже акт насилия имеет нечто, о чем мы не знаем, и писатель следует за собственным незнанием, опровергая ортодоксальную уверенность других. Покинув Бостон, Роджер Уильямс именно благодаря индейцам-следопытам, чей язык и обычаи он изучил, прошел через леса к той земле, где смог, наконец, жить как всегда хотел, «по-американски». Характерно, что изначально американцы – это индейцы, живущие в Северной Америке, и лишь новые культурные усилия по становлению американцев через 200 лет перевели европейских переселенцев под эгиду этого нового коллективного наименования, и понятие изменилось. Итак, в основании «бытия-американцем» заложено и бегство от войны, и вера в некий общечеловеческий принцип, где отстаивается свобода отдельного человека перед любой институцией и традицией, и учет другого – местного – контекста в качестве среды своего обитания, и акт писательства.

Именно эти черты и создают точку зрения американца на мир и все, что в нем происходит, включая войны. И именно этот взгляд и демонстрирует рассказчик, когда рассказывает историю о пережитой им ситуации смертельной опасности в Бейруте и о случае в Сараево.

“ОНИ”

Галина Зверева

Местоимение «Они» как матричное понятие для описания коллективного и анонимного «Врага», главной и первой категории «фронтového мышления».

Местоимение «они», употребленное с нажимом, эмоционально – это первичный маркер границы, прокладываемой между нами и «ими», фронтальной границы. Мышление фронтом, мышление врагом – важная черта российского сознания, или бессознательного, сегодня. «Они» противостоят «нам», то есть России. И по логике этого противостояния «они» хотят нам смерти, «они» приносят заразу и разорение стране. Эти риторические конструкции, даже цельные повествования, однако, не являются сами чем-то «реальным». По сути, они – «симптомы», причем симптомы очень разных социальных бед и пороков, которые как бы переносят в анонимный и плохо заполняемый образ Врага то, с чем человек сталкивается в своей повседневности и в себе самом. «Фронтное мышление» не лечится, ибо оно – симптом. А лечится то, что лежит в его основе, множество социальных и психологических причин, о которых не говорят. Как только излечены они, уходит и фронтное мышление. Но российская действительность характеризуется еще и тем, что она воспроизводит эти нарративные, дискурсивные конструкции в тех местах, которые, по крайней мере согласно проекту Просвещения, казалось бы, должны быть защищены от такой «симптоматичной» речи – в образовании (учебники по истории), в политике, журналистике, публичной речи. Это говорит о пораженности общества, о его дезориентированности, о затрудненности собственной самооценки, о сложности в понимании собственного места в мире. Следует работать над тем, чтобы дезактивация понятия «они» и разработка иного «нефронтного» мышления, стало свершением следующих поколений.

“ЛЮБОВЬ К ВОЙНЕ”

Мартин ван Кревельд

Поскольку война – результат человеческих эмоций, то полное устранение войны есть одновременно и устранение человека

В основании человеческого бытия находится воля к власти. Однако это не только воля властвовать другими, но и воля властвовать над хаосом, над неизвестностью, над реальностью. Нет более властного человека, чем историк, пишущий книги. А военные историки – тем паче. Военные историки бывают двух видов – бывшие генералы, и те, кто никогда не служил в армии, но желал бы быть генералом. Вторые, согласно автору высказывания, обычно лучше первых: их воля к навязыванию другим своей стратегии понимания фактов, ненасытнее. Точно так же и война, о которой пишет военный историк, является не чем иным, как проявлением воли к власти, воли к овладению реальностью, воли не встречать сопротивления на пути, воли преодолеть другую волю. Все эти аспекты войны носят и эротический характер, имеют параллели в межполовых отношениях. «Война должна быть добровольной, потому что есть множество мужчин, которые хотят убивать и согласны быть убитыми, и есть множество женщин, которые любят таких мужчин». Согласно автору, война тем и отличается от геноцида, что всегда предполагает две стороны, некий взаимный договор о том, чтобы убивать и быть убитым, или – отдавать жизнь и забирать жизнь в режиме огромной интенсивности. Поэтому любовь и война похожи. Иначе это просто избивание жертв, чистое насилие, которое имеет отношение не к боевым действиям, а к военным преступлениям. Война – это противоборство во взаимном притяжении сторон к общей эмоциональной проблеме. И если удалить этот единый исток войны и любви, притяжения и отталкивания, то люди, утратят не только полюс агрессии, но лишатся и противоположного полюса, присущего воли к власти, – любознательности, интереса к жизни, авантюристности. У таких людей отрубает само чувство реальности, они боятся ее, ибо реальность опасна, как война. Отказавшись от войны, ты отказываешься от любви. Но при этом не отказываешься от страха. И все же, несмотря ни на что, единственная молитва военного историка как человека – чтобы новые поколения, свои и чужие дети, никогда не одевали военной формы, не брали в руки оружие.

СЛУЖЕНИЕ

Михаил Курочко

Служение – как акт духовной практики, акт воплощения идеала в истории

Человек – земной человек – существо расколотое, как и человечество в целом. Расколотое внутри самого себя, и потому стремящееся к единству. Внутри него идет война – и выходом из этой войны может стать как предательство самого себя, дезертирство, так и достижение мира, достижение «согласия с самим собой», «лада». В разных языках эту победу именуют по-разному. Русский язык мыслит «победу» – как пересиливание беды, и в то же время как то, что связано с «виной» – однокоренное слово слову «война». Как во внешней войне, так и во внутренней причиной беды является чья-то вина. Это очень плохо транспонируется на английской, например, где понятие войны – это war, смещение, а понятие победы это «виктория». Виктория – это победа, приз, выигрыш – и лад с самим собой мыслится как яркое завоевание, почти как рыцарский плюмаж, воссиявший над невнятицей. Греческое «полемос» – это, скорее, спор, и решается при победе он «ником», то есть «защитой». Победа – это то, кому из спорящих даруется защита от мирового раскола, а кому нет. В этом греческом смысле понятие войны и победы легко переходят из внешнего спора во внутренний спор, в войну человека с самим собой и миром. – И эта переходность тоже близка к пониманию войны и победы у русских, наследников греков. Ибо в русском средневековье, например, внешнее воинское служение стояло рядом с монашеским послушанием – будучи как бы физической молитвой о защите.

Но в любом случае, и во внешнем и во внутреннем поле, перед человеком встает вопрос о выходе к «себе» подлинному, о такой остановке войны, которая бы восстанавливала правду, истину, красоту мира. И в этом смысле, отвлекаясь от реальных войн, главная война в мире сейчас ведется с самой антропологией человека. Массовое общество построено на постоянном отвлечении сознания. Если «лад» человека – это его согласие с самим собой, то сегодня человек редко бывает «у себя». «У себя» дома он – потребитель телевидения, видео, журналов, за его

«дом» постоянно борются множество виртуальных персонажей, превращая его в проходной двор. И в такой ситуации, при нарушенном чувстве своего дома, станет ли такой человек воевать за дом внешний, отстаивая «свое» в Родине? Антропологическая война ведется против всякой попытки человека познать самого себя через конфликт с собою, война идет против его мыслительной, духовной доминанты. Против его чувства собственной истории как воплощения его идеала, его чувства настоящей, «завоеванной» красоты. По сути, начиная с Ренессанса, когда человеку был предложен образ титана, и до нашего времени, когда сей образ измельчился до образа одноразового человека, и даже пост-человека, нововременное развитие цивилизации идет по пути замены, уплощения, предложения некоего внешне-комфортного образа взамен того образа, который должен был бы становиться человеческой истиной. В этой давней войне борьба идет со стремлением человека к идеалу, к тому, чтобы воплотить во времени образ вечности. То есть – с самим стремлением к истине.

«Истина» же – это не набор правильных высказываний. Истина – это сила. Именно так ее поняли древние греки, выраввшие с боем понятие «алетейя» – незабвенное – у собственной истории в тот момент, когда крушилась и уничтожалась, приходила в смешение мифологическая картина мира. Забвение – река Лета, в которой можно кануть, переходя в царство мертвых. Забвение, быстрое поглощение всего, информации, форм жизни, мод, страданий, самой памяти, было встречено у греков понятием «истины», модусом «истины» как вырывания из забвения, как практики человечества, как его войны. По настоянию Сократа, «истина» требует называть вещи своими именами, определять их суть, а не играть с ними в словесные игры; она требует для себя блага как благой памяти нравственного человека. Лишь в этом случае человек обретает *защиту, приз*, или же *по-беду*, он побеждает само забвение и продолжает собственную историю на Земле.

ГУМАНИТАРНАЯ ВОЙНА

Виталий Кафтан

Гуманитарная война – как новая война с далеко идущими геополитическими планами, ведущаяся за умы людей.

Война – социальное явление, сопровождающее человечество во всей его истории. Способны ли мы выйти из состояния войны, решая все проблемы мирным путем договоров, – большой вопрос. Но с развитием технологий мутирует и сама война – она пытается принять форму более «приемлемую» для мирового сообщества. Это и называется «гуманитарной войной». «Гуманитарный» – от слова «humanitas». Два понятия в русском языке возникли из слова «humanitas» – *гуманный*, как человечный, и *гуманитарный*, как имеющий в виду свойства, качества, чувства человека. Чаще всего эту новую войну понимают как «гуманную». Такая война, как утверждают, направлена против государства-банкрота, которое неспособно справиться с сепаратистскими или какими-то иными тенденциями на своей территории, теряет контроль, и расплачивается массовыми человеческими жертвами среди населения. Однако в ходе истории выясняется, что «третьей стороной» подобная война всегда ведется во имя собственных политических целей. Она не является гуманной, но она задействует резерв человечности, как средство по достижению поставленных задач. Такая война и именуется «гуманитарной».

Гуманитарная война на чужой территории разворачивается по нескольким направлениям. Сегодня она может иметь вид войны за сознание граждан чужой страны. Не нужно убивать их, не нужно завоевывать, достаточно опустошить их историческую память, прервать устойчивые связи, чтобы из них же создавать общности нового типа – «биоидов», людей с выхолощенным сознанием, в которое можно внедрять любую симуляцию. Или же можно навязать человеческому сознанию новые ценности и ориентиры, которые изменят их поведенческие структуры. Но хотя такая война не похожа на привычные, к ней тоже относится высказывание Клаузевица о войне как продолжении политики другими средствами. И главное, что атакуется в этой войне – в том числе и в переписывании русской истории – это память,

человеческая память собственного родства, дома, Отечества. Важно, что в этом смысле понятие дома и войны связаны. Дом – это не только мирная жизнь, но еще и то, за что следует воевать. Превентивная гуманитарная война атакует нашу способность воевать за свой дом, атакует «защитную», или «справедливую», войну. И в этом смысле антивоенное настроение может оказаться дезертирством – например, немало воспитанных на чтении писателей антивоенного толка молодых французов конца 1930-х не нашли в себе достаточной духовной силы, чтобы встать на защиту страны от вторжения нацистов, и кончили коллаборационизмом.

НОСТАЛЬГИЯ//ФРИКЦИИ

Петар Боянич

Ностальгия – тоска по дому – как одновременно и то, что мешает войне, замедляет ее действие желанием солдат вернуться домой, и то, что таит в себе агрессию.

Понятие *ностальгия* (выдуманное греческое слово XVII века) имеет долгую историю. Прежде всего это понятие медицинское – его начали выделять как подвид меланхолии. Ностальгия – это невыносимая тоска по оставленному дому, мучившая, в первую очередь, швейцарцев, служащих в чужой армии. Галлер попытался объяснить этот странный феномен через политическое устройство Швейцарии, то есть высвободив понятие ностальгии от конкретной пространственной привязки – швейцарцы не очень знают чужеземцев, те не приживаются у них, они мало видели другого и, оказавшись сами в краю, где их «любят мало», потому что их не знают, швейцарцы начинают смертельно тосковать. Это же понятие развивалось и дальше и, теряя уже всякую связь с военной медициной, перешло в поэзию, когда поэт Новалис определил философию как «ностальгию повсюду быть дома». Если еще Кант попытался отделить ностальгию от «патрии», родины, то есть – дом от тоски по нему, «облегчив» понятие дома в знаменитой фразе «где хорошо, там и дом», то уже у Мартина Хайдеггера именно ностальгия становится определением самой философии, то есть собственно бытования человека в мире. «Философия – тоска повсюду быть дома», при этом «дом» – это родной, непереволимый язык, диалект, идиома, которые неотделимы от человека. Это же понятие использует и Андрей Тарковский. Словами главного персонажа его фильма «Ностальгия»: «русское» – уникально, никто его не может понять, никакой перевод его поэзии невозможен (характерно, что в фильме на русском он говорит с собой, а с другими, – по-итальянски). И поэтому всякому отъезжающему русскому свойственна ностальгия. А для совместной жизни людей, как говорит язвительно герой, нужно уничтожение границ – уничтожение границ государства. Употребляя государство в единственном числе, герой по сути ведет речь об уничтожении именно своих границ, то есть о расширении своих границ до границ мира. Такое расширение будет на деле удалением всех препятствий на

пути назад – то есть удалением границ других государств. Но такой путь домой может легко обернуться войной: тому пример – Одиссей. Более того, тот самый уникальный дом, в который хотят вернуться, это и есть то, что требует защиты от других, то, что выставляет границы, и чем больше нагнетается ностальгическая уникальность дома, незабвенная уникальность его отличительных признаков, тем больше внешняя форма ностальгирующего будет напоминать армейскую форму со знаками отличия страны. Тем полнее восстановится «тошнота и военная неопределенность».

Ностальгия несет в себе воинственную природу, у нее – своя насильственная стратегия. Она включает не только понятия дома, родины, но и, допустим, – вывернутым образом – понятие «чужестранца». Ведь «чужестранец» – это тот, у кого есть своя родина. И желание философа «повсюду быть дома» – это желание расширить свой родной язык до границ вселенной, что является насилием в отношении других языков, стран, уникальностей. И философии, и человеку предстоит признать все расширяющееся пространство между народами, где у одного человека много кладбищ и где один человек говорит на многих языках, не имея родного. Еще им предстоит все больше усиливать «трение» между странами и языками.

Трение (*Friktion*) – термин Клаузевица, означающий замедление процесса включения военной машины в случае огромного количества советников и бумажной волокиты. Ностальгия солдат, их желание вернуться домой – механизм далекий от совершенства. А вот все более умножающееся и расширяющееся пространство между народами, со все большим числом его обитателей и линий коммуникации, осложняющих принятие простых, слишком простых, решений – это и есть то трение, что замедляет войну.

ЛЮБОВЬ

Маркус Штайнверг

Любовь как утверждение в неясном, слепом для нас, «отрицательном» мире, как акт веры в условиях отсутствия полного контроля, несущий в себе одновременно и насилие в отношении устоявшегося миропорядка, войну с ним. Любовь – как философская единица.

Философ – тот, кто сам изобретает свои понятия. И более того, кто сам изобретает то, что такое философия. Это не значит, что он не знает многого из истории устоявшихся философских идей, но это значит, что собственно философствует он тогда, когда указывает не на известные факты, а на несоразмерности и разрывы в мире фактов, в мире культуры. Философия не опирается на то, что пред-дано, на некоторое предсуществующее поле. Она противостоит ему, и изобретает.

Мы живем в эпоху, которая не принимает двоимирия – нет ощущения, что есть какой-то второй мир за этим, общее чувство состоит в том, что есть только этот – без всякого выхода. Не имея выхода, этот мир тем не менее неплохо устроен внутри себя – работают готовые последовательности фактов, стыкуются между собою различные действия. Перед нами почти автомат и человек в нем – объект воздействия многих факторов: биологических, семейных, наследственных, культурных. Человек – и сам автомат, объект воздействия, или – что то же самое – жертва его. Так на человека смотрели многие философы современности, начиная с Ницше, уже отказавшегося видеть в нем субъекта, и кончая Лаканом, считавшего человека пленником безличных структур бессознательного. Не отрицая, что различия существуют, что мир не един, что культуры и семьи делают нас несхожими, неясными друг другу, что наше бессознательное держит нас сильнее, чем мы думаем, мы тем не менее должны ответить на вопрос – как человек может проявить свободу, сделать один, пусть маленький шаг сам, за границу своей сверхзапрограммированности? То есть как ему стать субъектом? Сделать этот шаг не означает – вернуться к прежнему двоимирию. В прежнем раскладе сил любой человеческий субъект опирался на некую пред-данную универсальную Субъективность. То была идеальная сверхсущность, разлитый

надо всем миром взгляд Высшего существа, большого Другого (по выражению Лакана), единого для всех, и оттуда, сверху, связывающего все человечество. В нем, в этом высшем существе черпала свою свободу и право на ответственность и каждая отдельная субъективность. Если такой постулат отвергнут – как отвергнут он XX веком, – то шанс у человека один: стать «субъектом без Субъективности». Такой «субъект» остается одинок и замкнут, единичен в пустыне свободы, у него нет связи с другими. Ибо свобода его теперь и состоит в признании разрыва, нецельности внутри себя. Я не равен себе, между мной и мной – дистанция. Я не все контролирую, я действительно принадлежу каким-то неведомым мне структурам, силам, факторам, но в этой слепоте, в этом полном отсутствии контроля, в этой войне с самим собой «я» беру ответственность на себя. Пейзаж меняется – я уже действую не в мире определенностей, а в мире, где у меня утрачена ориентация. И в этих условиях каждое решение – только мое, я беру ответственность на себя, я уточняю собственное желание, и связью между мной и мной, и мной как не мной, как кем-то еще другим, мне незнакомым, становится не автоматический рефлекс, а всегда сомнительные с внешней точки зрения акты веры и доверия. Это существует и в мысли позднего Витгенштейна – мы не можем бесконечно спрашивать и непрерывно сомневаться. В конце концов, основа всего нашего мира – это акт доверия. Такой акт доверия и совершается прежде всего в «любви». Ибо любовь – это не «слепое» включение в последовательности мира, а принятие ответственности за саму слепоту любящего, знание того, над какой пропастью растет и это доверие и эта его любовь к другому. Это акт утверждения, акт расширения себя, выхода за границы себя прежнего, акт свободы, насильственный акт в отношении себя же прежнего – но это еще и акт известный любому писателю, любому художнику: акт преувеличения, придания большего смысла вещам, чем то позволяет их повседневный масштаб. Только так, в акте преувеличения, абсурдного доверия к серьезности другого, человек и может впервые сказать «я». И это – война, которую человек ведет за себя постоянно.

“СМЫСЛ ВОЙНЫ”

Юрий Шевчук

Любовь как смысл войны

Война встроена в весьма уважаемые порядки и последовательности мысли. О ней можно рассуждать с самых разных рациональных позиций, и смысл ее будет многозначен. Экономический, социальный, политический. Есть последовательность, при которой смысл войны – победа. Есть последовательность, при которой сама война становится смыслом всего. Ибо на этом свете все в борьбе за выживание бесконечно воюют друг с другом. Но именно эта последовательность и показывает бессмысленность такого смысла. Смысл войны как сама война – это полное самоуничтожение, ноль в результате. Смысл как какая-то все же часть бытия, некий плюс, здесь не встречаются. Наоборот, именно пока смыслы возможны, пока самые грозные мысли озвучены, еще возможны переговоры. Только на этой тонкой грани еще могут действовать культура, музыка, пение, дипломатия. Сама война – перегорание смыслов и несоразмерность тех смыслов, которые остаются, тому абсолютному отсутствию общего смысла, которое наблюдается. «Война – это когда зло навязывает добру свои правила игры». В рамках этой игры, воюют не за большой смысл, а за очень маленький, явленный здесь и сейчас: воюют – за товарища слева и справа, за убитого друга. Причем за это воюют обе стороны. Это слишком малые, личные смыслы, несопоставимые с масштабом общего абсурда. И абсурд этот длится. Война способна отнять смысл не только в эпицентре своем, ее опыт отнимает силу смысла и на дальних перифериях. Возвращаясь обратно в «мирное» общество, человек видит лишь то, как хрупки общие связи, как лицемерны они на фоне того, что творится совсем недалеко отсюда. Он возвращается и не выходит из войны.

И война длится до того мгновения, пока человек не встретится с чем-то, что превышает негативную силу войны, что не боится того ужаса, который он несет в себе. Например, «лес», гармония природы, дает постепенное успокоение – туда могут увезти человека, схватившего-таки пост-травматическое стрессовое расстройство. Человек должен столкнуться с тем, что так крепко связано внутри себя, так гармонично, что любые его оби-

ды, все пережитое не нарушают и не тревожат эту гармонию. Эта гармония нерушима, пронизывающие ее токи и связи, ее мощная углубленная в себя тишина превышают по крепости любые связи общества, которые легко разрываются агрессивным поведением «ветерана». И что тогда возникает в человеке, когда отступает война? Неужели вновь возвращается его прежнее «я», готовое вступить в социальный обмен? – Не совсем. В пережившем ужас – а второе имя войны – это *ужас* – и успокоение человеке открывается настоящее желание жизни и первые ростки любви. Он свободен от войны так, как не свободно от него даже мирное общество, где часто желание жизни – это борьба за место под солнцем, а желание любви – это желание взять в плен. Такой человек вычистил войну из себя, он обрел смысл. Тот самый большой смысл войны, которого прежде не было. Война – это чистилище, через которое проходят в тяжком и запутанном мире немногие, почти единицы, чтобы обрести любовь. Смысл войны есть любовь, она – ее единственное оправдание.

ИЗГНАНИЕ

Наталья Нестеренко

Изгнание – как круг, откуда невозможно вернуться домой.

Круг войны, круг насилия, может быть пройден не только по линии солдата, он может быть пройден и по линии беженцев: тех, кто отправлен в побег и вынужден следовать этой линии бегства. Чеченская война как история побега, беженства, изгнания имела несколько этапов для русской части переселенцев. Русские сначала становились беженцами, постепенно сдвигаемые с места волнами насилия, агрессии, развязанной чеченскими боевиками против них. Насилие это бытовое, наполняющее слухами землю – там убит этот, здесь вырезана семья, там потеряли работу. Маргинализация русских в Чечне и постепенное их изгнание, отрыв их от той реальности, которую они считали своею, в которой не сомневались, в которой «имели место» – начало побега. Возникает первый зазор в простой идентификации: «русский из Чечни» – невозможное соединение. Противоречие на месте казалось бы обычной данности. Однако переезд к своим – не дает искомой цельности. Война в Чечне, беспредел со стороны российских солдат-контрактников, превышающий любые размерности «справедливого отмщения», случаи смерти среди своих же членов семьи направляют эмоцию сочувствия вспять – в адрес тех, кто теперь страдает больше, к бывшим «притеснителям». Полное слияние со страдающими, кажется, дает обрести вновь утраченную целостность личности. Изгнанник может стать правозащитником. Но на пути обратно, в качестве гаранта доброй воли, русский из Чечни сталкивается с «новыми русскими из Чечни» – солдатами, контрактниками, у которых – своя история. Выясняется, что есть невыносимый градус страдания и этих людей, страдания, которое и им не позволяет больше вернуться домой, откуда их послали на войну. И часть сострадания русского из Чечни направляется и в их адрес. Это снова порождает расщепление – беженец, правозащитник снова не «у себя». Как и те, кого он встречает по пути – русские жители Чечни, пострадавшие от самих же русских, чеченцы, погибающие от рук своих же чеченцев, правозащитники, погибающие от представителей тех, кого они защищают, немец, переживший плен у

чеченцев и не способный вернуться обратно к своим. Каждый расщеплен этой войной, у каждого нет из нее выхода. Никто не может покинуть ее, и никто не может вернуться домой – ни боевик, ни контрактник, ни мирный житель, ни эмигрант, ни правозащитник, ни федерал, ни немец, прошедший в плен. Война, расщепившая всех и лишь скрывающаяся сейчас за якобы мирным и хорошо отреставрированным фасадом, – это общее изгнание.

ЖЕРТВА

Александр Черноглазов

То, что является антропогенным фактором, то есть то, что делает нас людьми и что способствовало бы построению подлинно человеческой культуры, – это то же, что останавливает войну. А именно – умение принести себя в жертву. Причем сделать это анонимно, без всякой нацеленности на успех и признание со стороны людей. Принести жертву во имя Бога, или, в терминологии лакановского психоанализа, во имя *большого Другого*.

Что означает быть человеком – в отличие от зверя? Согласно версии Александра Кожева, влиятельного философа и политика, собственно человеком нас делает желание быть признанным другим человеком. Воля к признанию, воля превосходить или быть принятым, – то, что создает человека и человеческое сообщество. И борьба, война друг с другом в разных видах – это основной механизм такого признания, ибо признания здесь никогда не дают добровольно. Эта борьба создает два противоположных типа – Господина и Раба, Победителя и Победенного. Первый отличается от второго только одним: за то, чтобы получить признание, он готов был рискнуть жизнью, пойти до конца. Тот, кто отказался это сделать, стал Рабом. В ходе истории человечества как истории борьбы этих двух начал создается последний тип: Гражданин. Именно в Гражданине находят верную пропорцию два первых начала и именно на нем, согласно Гегелю-Кожеву и заканчивается история. Но в этой точке у Кожева и у Гегеля намечается кризис – с исчезновением борьбы начал, исчезает и антропогенный фактор, человек пропадает со планетарной сцены. Его больше нет – его история заканчивается. С этим трудно смириться.

Ученик Кожева психоаналитик Жак Лакан предлагает следующий шаг, сохраняющий человека в самом центре этого парадокса. Потому что, на деле, человек, в конечном счете, не хочет добиваться признания у другого человека. С моментом введения «бессознательного» как фактора культурной и собственно человеческой жизни, мы получаем возможность увидеть, что человек не полностью говорит от себя: в нем и сквозь него нередко говорит что-то еще – его бессознательное желание. Это некий иной субъект, о наличии которого в себе человек не догадывается. Он

проявляется только в симптомах, в тех самых оговорках «по Фрейду», навязчивых повторах действий и т.д. Эти симптомы и есть язык такого «тайного» субъекта в нас. На этом языке мы обращаемся к кому-то, но к кому? Явно не к другому человеку. На языке собственных симптомов мы беседуем не с человеком, а просто с кем-то Другим, Другим с большой буквы, и именно его любви и признания мы почему-то на самом деле и ищем. Если эти отношения между собой и Собою встроены в самый центр нашего существа, то признание или непризнание нас другими людьми не имеет значения. Мы боремся за то, что скрывается в нашей собственной глубине, эта борьба – с собою. Эта борьба, мольба, беседа бесконечна, она проходит в глубине, и она-то и является «антропогенным фактором». Осознав свой подлинный мотив, свое истинное желание, душа может оказаться способной на самые радикальные меры.

А чтобы доказать себе и большому Другому, что мотив наш чист, что мы действительно хотим только его и ничего другого, мы делаем шаг, который в истории делали христианские святые – мы бежим человеческого общества, мы исключаем себя из него, мы выходим из борьбы за признание со стороны человека. Психоаналитик у Лакана действует именно таким образом. Это человек, который при общении с другим человеком возвращает ему не зеркальную реакцию на него, а то, чего тот на самом деле желает, хотя и не знает этого. Про себя психоаналитик знает, что он никто, занимающий ничье место, что он – пустота, умалившаяся, истощившая себя, а не собеседник в разговоре. В истории христианства такой «отказавшийся» от себя человек и становится в центре культуры. Это – святой. Культура наводит свой фокус на «великий отказ» – столпников, подвижников, аскетов. Вокруг их мошей, мест их страданий и заточений, их гниения, умерщвления такая культура выстраивает свои храмы и города. Отдавая высшую дань признания тому, кто отказался от всякой борьбы за признание, культура христианства старается найти путь к более человеческой жизни для всех. Если бы такой культурный ориентир стал нашим ориентиром сегодня, то, вероятно, война людей исчезла бы из истории навсегда. И это бы не означало конца человеческой истории, а наоборот, впервые подлинно антропогенный фактор – вечное бегство от человеческого признания, ускользание, жертва – создавал бы в своем движении все более человеческий мир.

Григорий Фастовец

Посттравматическое стрессовое расстройство как неотпускание войны

Человек на войне – особое существо. Прежде всего – существо, с которого соскользнули все покровы цивилизации и культуры, это человек выживающий, живущий только необходимым. Военный эксперимент по форматированию человеческой психики задает те параметры, при которых человек наиболее приспособлен к выживанию, параметры, которые в обычной мирной жизни будут считаны как странные, избыточные, мешающие, превращающие того, кто сам недавно был членом общества в изгоя, в асоциальный элемент. Но в сущности эта психика теперь действительно имеет другую конфигурацию. Предоставленная воле, оставленная уже без войны, она функционирует как определенная отгороженная ото всего система. Психика строится вокруг центрального травматического, катастрофического события, ей свойственна система повторений, ей вновь и вновь приходится переживать наиболее страшное – в сновидениях. Чувство повышенной опасности диктует неадекватные реакции на ситуации мирной жизни, странное поведение в пространстве, где отсутствуют внешние угрозы. Это также еще и чувство глубокой вины – человек является не просто социальной единицей в здесь и сейчас, его точно свита сопровождают «его мертвые», он постоянно находится в диалоге с ними. Он – не живущий, он – выживший, плотно спаянный с прошлым. То же прошлое диктует и замкнутость, неразговорчивость в настоящем. Такой человек почти не может общаться с теми, у кого нет схожего опыта. Опыт, который он пережил, не перелagается ни на какой другой, он настолько тяжелее, что неравновесность пережитого отдаляет человека от других. Это не личный опыт частной жизни, который позволяет разным людям общаться, но опыт совсем другого, слишком тяжелый для социума – касаться его в разговоре можно лишь с теми, кто, как и ты сам, «был там». Все эти сбитые временные, коммуникационные, пространственные параметры создают странный человеческий тип, но как иначе, если не таким сжатым, внутренним перекручиванием, еще могло бы реагировать на

такой опыт человеческое существо. Примечательно, что этому синдрому всей этой сбитости времен, масштабов, параметров на массовом уровне мы обязаны массовому же задействованию оружия массового поражения, его особым спецэффектам. Души, замкнутые в стенах этого синдрома – это в (легко активируемом) потенциале и мы сами, живущие в эту новую, техницированную эру.

ДВОЙНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Герман Садулаев

Война современности – как нео-война, утратившая все черты прежних войн, оставшийся атавизм, от которого человечеству предстоит отказаться.

Война раскалывает мир на простую и ясную оппозицию «свои» и «чужие». Внутри «войны» все правильно, у каждого момента есть своя осмысленная цель, своя необходимость. Состояние войны, мобилизованности, осознанности – это пир человеческого духа. И война, ведшаяся на пределе способностей человека – это состояние духовного счастья.

Старая война создавала ясную картину жизни. Если к ней пытаются вернуться сегодня, то это – бегство от усложненного мира постсовременности в мир «детства», где правят простые дуальности, противоположность простых понятий. Следующим шагом уже может быть и «монизм», переход в простое пренатальное состояние, почти покой. Тогда война – это медитация о смерти, обретение первичного покоя. В этом смысле война – это «мать». И война – это священное. Плохая новость в том, что войны этого старого типа – закончились. Современная война не вносит раскола в мир, деля его на врагов и друзей, она вносит раскол в личность, деля ее на две противоборствующие стороны. Ибо ситуация в современности такова, что мы в разных контекстах занимаем то одну, то другую сторону. Простой случай такой двойной идентичности – метис, рожденный в браке представителей двух сторон конфликта, более сложный – когда конфликт разворачивается таким образом, что части одного и того же человека принадлежат воюющим сторонам. Например, в Чечне – конфликт государства и «сепаратистов», когда часть человека принадлежит государству, а часть – по этнопризнаку, да и даже по признаку настоящих интересов государства – чеченцам. То же самое происходит и с солдатом армии. Сегодня – он торгует с чеченцами, завтра он убивает их, а они его – причем пулями, купленными у него же вчера. Все зависит от контекста, нео-война постоянно меняет своих и чужих. Для армейского солдата тут есть два пути – в невротики, полностью фрустрированные происходящим, как у американцев, и в преступники, как у российских солдат, которые все еще хотят вернуть простоту и яс-

ность архаичной войны. Точно так же и для «мирного» населения – пути тоже два: путь Врага и путь Предателя. Причем, став Врагом, ты начинаешь воевать последовательно на одной стороне, постоянно при этом оказываясь врагом самому себе, а став Предателем – тем, кто не делает выбора, или меняет его, ты тоже постоянно предаешь себя. Таким образом, война сегодня – это ситуация шизофрении, полностью непродуктивная для человека, лишенная всякого смысла, статуса, признания. Она имеет дело с той ситуацией «модерна», когда у каждого из нас заведомо много идентичностей, и выбор усложнен. Именно поэтому война как механизм решения проблем – это атавизм, и она должна уйти в прошлое, как каннибализм и промискуитет.

«ЭПИЗОДЫ ИЗ АУШВИЦА»

Яцек Лех, Михал Галек

Серия комиксов как борьба с культурным забвением холокоста

Комикс – это притягательная форма, особый визуальный язык, понятный для любого подростка. Это – форма удовольствия: со своей драматургией, ритмом, правилами игры, немногословностью. Использовать ее для того, чтобы рассказать об Аушвице – попытка преодолеть забвение, которым чревато настоящее. По мере удаления событий в истории молодежь, вовлеченная в культуру потребления, в постоянные возможности новых развлечений, медиа, может не сформировать эмоциональную связь с тем, что имеется в виду под именем *Холокост*. Борьба с забвением этой катастрофы, ее отодвиганием в исторически неразличимое прошлое, ведется разными методами. Один из них – рассказать на языке подростка обо всем. Для этого и используется особая технология. Глыба миллионов страданий рассекается на эпизоды, на отдельные ленты «историй». Аушвиц разделяется снова на действующих лиц – арестантов, конвоиров, администрацию, стукачей, советских военнопленных, арестованных евреев, польских политзаключенных – у каждого свои обстоятельства, своя – пересекающаяся или нет с другими – история. Каждый из них может быть «точкой зрения», точкой «рассказчика». Про каждого из них может быть сложена история. Визуальный язык этой истории – близок к языку «фильмов про войну». Это повествование включает в себя подразделы – любовный роман, жанр «побега из тюрьмы», или же истории «противостояния в тюрьме», «войны с начальством». Все это уже не раз снималось, ставилось, но никогда таким образом не применялась к Аушвицу. Точно умелые костюмеры, художники восстанавливают мельчайшие детали. Как выглядела форма конвоиров зимой и летом? Какой тип ламп применялся на допросах? Кроме того и сами истории документально засвидетельствованы: опрашиваются выжившие, поднимаются документы. На 90 процентов все, что вошло в выбранный эпизод, было на самом деле. На 10 процентов – оно могло быть таким. Пространство Аушвица исследовано художниками полностью. Каждый эпизод, крупные планы берутся с какой-то реальной точки зрения, не выдуманной, как если бы и в самом деле там

стояла камера. Только никакой камеры там нет. Это – реконструкция, это – не кино по мотивам, где играют живые актеры, а некая абсолютно условная форма, которая как раз в силу своей условности и не претендует на то, чтобы показать настоящий ужас Аушвица, а только на то, чтобы рассказать о нем. Донести о нем весть тем, кто сможет перенести ее в будущее.

СМЕРТЬ

Дмитрий Новиков

«Моя смерть» как то, о чем невозможно свидетельствовать, о чем невозможно говорить от себя, и одновременно как то, что звучит внутри самой речи, что и есть то, что говорит во «мне».

О смерти речь идти не может. Речь никакого человека не может коснуться порога, за которым располагается его смерть. Много бравых попыток вытащить смерть из речи, вытянуть речь о моей смерти как речь свидетельскую на деле всегда оставляют речь по эту сторону своего «предмета». Даже попытка Хайдеггера расположить смерть таким образом, что она-де свойственна только человеческому присутствию, а животное о ней не знает, играет странную шутку с говорящим. А как быть с тем самым животным, в качестве какового ты тоже умираешь – подобно всем остальным животным. Оказывается, при доигрывании, что такая смерть «присутствия» есть в основе жертвоприношение животного, которое теперь так переплетено с человеком, что никакого отрыва и быть-то не может. И «смерть человека» оказывается стертой, ускользающей, – даже такому мастеру, как Хайдеггер не удастся вывести ее в речь. Речь о смерти может растекаться множеством дорог и ответвлений. Это и речь о «моей смерти», которая сама мне настолько недоступна, что нужен некто «другой», который бы всегда свидетельствовал о ней. Труп в этом смысле не является «смертью», смерть как событие, смерть как то, что происходит, фиксируется не мной, а как бы с другой, чужой точки зрения. Иногда – это точка зрения и того, кто выжил, кто смог пережить нечто такое, что приближало его к смерти. Такая невыразимая и одновременно глубоко человеческая смерть отличается от смерти как институции, политики; от смерти, запечатленной в знаменитых сценах, позах, фразах, памятниках; от смерти, упакованной в историю «великих войн»; или же той смерти, которая ценится выше или ниже, в зависимости от того, в какой части света, в какой стране прописан умирающий. Вот эта смерть, ставшая символом, знаком, полностью укрывает ту другую смерть, которая сохраняется внутри речи каждого, и которая собственно и делает его человеком. У этой смерти нет репрезентаций, и даже нет истории, ее нельзя показать. Про нее нельзя рассказать. Но чем напряженнее ока-

жется речь говорящего, чем больше в ней будет присутствовать какого-то «другого» взгляда, тем ближе подступит смерть как само ее основание. Это основание назвать прямо нельзя: чем ближе оно подступает, тем быстрее оно само же стирается – как у Хайдеггера с его «животным», которое так вполетено в его же определение человека, что стирает то, что, казалось бы, в этом определении только что утверждалось. Но эта-то явленная интенсивная невозможность сказать, неожиданно и оказывается свидетельством – предъявлением смерти. Эта невозможность относится не к разряду высказываемых истин, а к разряду литературы. Ибо именно литература есть речь, отделенная от мира, и направленная к миру, некая фантастическая зона, где смерть действует как сам принцип поэтики, именно литература вырывает слова из обыденной речи, создает целые тексты, которые являются вымыслом, но не ложью, и именно она является «работой смерти», которую никак, однако, «вытащить» на свет из нее нельзя. Ибо именно смерть одновременно и отказывает нам в речи и производит речь. И такая речь говорящего всегда есть не что иное, как невозможное предъявление собственной смерти. И речь того, кто говорит перед нами сейчас – не исключение. Перед нами речевой перформанс – невозможный философский перформанс о смерти того, кто говорит прямо сейчас.

«САРАЙ ГОРИТ»

Рафал Бетлеевский

Почтение памяти через производство тревоги

Как почтить память умерших, чья смерть отнесена от нас временем? Как почтить память умерших, если те были убиты твоими же согражданами? Как почтить память умерших, если признание их убийства в корне меняет представление о том, что значит быть частью твоего народа. Если «поляк» не мог такое сделать – не мог загнать более сотни еврейских семей в сарай и поджечь его – и все же «поляк» такое сделал, то что значит принять тот факт, что ты «поляк»? «Я тот же невежественный поляк» – говорит художник. Во время войны случилось именно это. Горел сарай и множество людей сгорели вместе с ним. Дотла. Как теперь почтить их память? Как теперь подойти к этой смерти – уж не постановкой памятников. Памятник служит забвению, он усмиряет нашу тревогу, он удаляет в прошлое события, похороненные под ним. Как сделать нечто тревожное, как заставить память тех, кто живет теперь, заболеть тем событием, которому они сами не могли быть причастны. Как стать свидетелем тому, чему ты сам не мог быть свидетелем? Художник строит такой же сарай недалеко от того же места, он входит в него, закрывает дверь, и на глазах у прессы и жителей поджигает его изнутри. Вместе с ним горят и листы с именами тех, кто счел, что ему есть в чем повиниться перед польскими евреями. Художник выживет – как выживает свидетель, рассказчик. На месте действия не останется ничего, кроме пепла. Но этот «прозрачный театр» оставит мету в сознании страны, а также и в медийном поле. Он совершил публичный акт признания. Он совершил нечто, что уже нельзя стереть, отменить, он присвоил себе право быть свидетелем того события, у которого свидетелей не осталось, а живой свидетель – это всегда и есть то, что усиливает нашу тревогу и не дает прошлому отодвинуться в небытие.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МИР И ВОЙНА

127

ПОГОДА

139

МИР И ВОЙНА

Т. Негри и Э. Аллье

“Ernest Hemingway once wrote: “The World is a fine place, and worth fighting for”. I agree with the second part.” SE7EN¹

1

«Война и мир»¹⁴: в своей классически-современной форме конъюнкция войны и мира (*paix*) сохраняет дизъюнктивный смысл, содержащийся в хиазме этих общих понятий, демонстрируя при этом невозможность с исторической и понятийной точки зрения выдвинуть позитивное определение мира. Мир, как и *разоружение*, негативным образом означает состояние общества, характеризующееся отсутствием войны. Именно о мире *через* разоружение говорит нам Раймон Арон: «Нам говорят, – пишет он, – что мир царит, когда отношения между нациями не принимают военных форм борьбы». ⁱⁱ Ни сущностно, ни экзистенциально мир не исключает борьбы и конфликтов (он *демилитаризует* их), ведь его принцип «не отличается от принципа войн: всякий мир основан на могуществе» (*ibid.*) в *мире* (*monde*)ⁱⁱⁱ который сам императив общественной безопасности уже требует рассматривать в целостности (*totus orbis**). Будучи по сущности связанной с безопасностью, эта первая светская форма *политической глобализации* (*mondialisation*) неотделима от антиномии Война / Мир, которая вписывает «право народов» (*jus gentium*) в универсальную перспективу власти (*potestas*). *Антиномия* – вот слово, использованное стариком Прудоном для объяснения того, что «мир доказывает и подтверждает войну», а «война, в свою очередь, представляет собой отстаивание права на мир».^{iv} Несмотря на захватывающую актуальность этой последней формулировки, Прудон описывает ею то, что сам он называет «*переменчивыми условиями*

ⁱ «Эрнест Хемингуэй как-то написал: «Мир – прекрасное место, и он заслуживает того, чтобы за него боролись». Я согласен со второй частью». SE7EN

ⁱⁱ R. Aron, *Paix et guerre entre les nations*, 1962.

ⁱⁱⁱ [Для передачи французского *monde* (в отличие от *paix*) в переводе мы используем дореформенное (1918 г.) написание слова *мир* (= мир как свет, общество...) – прим. ред.]

^{iv} P.-J. Proudhon, *La guerre et la paix, Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens*, 1861.

жизни народов», подверженных историческому, «феноменологическому» чередованию состояний мира и состояний войны в *мире*, где логика национально-государственной централизации предполагает и объясняет склонность к военным столкновениям.

2

Мир и война: в ее имперской гипермодернистской форме конъюнкцию между миром и войной следует понимать сообразно некоему заместительному смыслу, который делает оба термина *абсолютно одновременными* друг другу, начиная с инвертирования их «классических» функций и отношений. Коль скоро война означает некий устав конституционных властей и форму, конституирующую новый порядок, мир теперь является всего лишь обманчивой иллюзией, провозглашающей мощь беспорядка и его угрозу – *urbi et orbi* – для мировой безопасности. В конечном счете, все происходит так, как если бы – в этом *мире* без внутреннего и внешнего, где «отношения между нациями» вместе с распадом жизни сообщества («внутреннего мира») также сбросили маску внешнего мира, – мир и война оказались столь нераздельно смешаны между собой, что они теперь образуют всего лишь изнанку и лицевую сторону одной и той же ткани, брошенной на планету. – Мир, *иначе говоря* глобальная война... Это является не столько гипотезой, сколько констатацией, которую делают все относительно этой гибридной идентичности, проецируя «весь мир» на такую метаполитику, где мир представляется всего лишь *продолжением войны иными средствами*. Более чем относительная инаковость, инаковость непрерывного политического действия, коему подвергается глобализованный *полис*, находящийся под юрисдикцией чрезвычайного положения *бесконечной войны*. Из нее заключают к миру, как к установлению перманентного чрезвычайного положения.

3

На заре Нового времени, когда наступил период вызревания парадигм суверенитета и государства-нации, Гоббс рассказывает Историю человечества как великое повествование о выходе из состояния «войны всех против всех», отождествляемого с состоянием естественным. Политический институт суверенитета, основанный на распаде природных отношений и на отчуждении

не-определенного желания власти для индивидов, изобретает Право как собственный принцип и гарантию гражданского мира. Оплаченный высокой ценой безраздельного отчуждения свободы в повиновение суверену, мир представляет собой единственную компенсацию пакту о повиновении (переносу власти), юридическая безусловность которого (перенос права) служит реальным условием осуществления политического тела. Суверен является абсолютным в перспективе повиновения субъектов (подданных) единственной выгоде – безопасности; «охрана народа» является условием реальности (суверенной) власти суверена «судить о том, что является резонным (соответствует государственному интересу), а что нет» – согласно формулировке из «Левиафана» (гл. XXVI). Суверен держит в руках меч правосудия (справедливости), которым он сохраняет внутренний мир, – и шпагу войны, каковой он обеспечивает внешнюю оборону *и наказывает бунтовщиков, объявляющих свою волю к неповиновению (non jure imperii sive domini, sed jure belli**: внутренний враг возникает благодаря праву войны, потому что «бунт есть всего лишь возобновление состояния войны» («Левиафан», XXVIII), поднимающее «множество против народа» (*De Cive*, XII, VIII)). Тем самым война предстает как негативное условие мира; она репрезентирует государственный интерес, определяющий добровольное подчинение Хозяину Закона. Ибо вездесущность войны и ее репрезентаций необходима для того, чтобы создать Порядок, который превращал бы рассеянное множество в единое тело, подчиненное – от пустого имени Народа – «абсолютной власти», воле одиночки... Современное государство рождается из этой *политической репрезентации, которая поддерживается войной, монополизируя во имя мира логику накопления власти, выводимую из «первоначального смешения» множеств*. Тридцатилетняя Война неслучайно ассоциируется с рождением современного суверенитета: она завершается миром, который запечатлевает окончательную победу юридической морали силы над *политеией*, как «справедливым» распределением власти (Гоббс отмечает греческое *справедливое* как школу мятежей). Но верил ли кто-нибудь когда-нибудь в этот мир без справедливости, что разъезжает по ландшафтам побоищ в двуколке Матушки Кураж? Между 1618 и 1648 гг. Германия потеряла половину жителей... Мир, заключаемый современным государством, представляет собой идеал, разрывающийся между теорией справедливой войны (Гроций) и программой универсального мира, которой подобает дать имя Утопии (Томас Мор).

В эпоху, свои права на которую отстаивает постмодерн, чьи планетарные рамки зафиксированы не столько Организацией Объединенных Наций, этой отдаленной наследницей проектов вечного мира, сколько Всемирной Торговой Организацией, – в эту эпоху именно война стала *властью порядка*, присваивая себе «преодоленный» характер территориального завоевания. В отличие от классической-модерной эпохи, которая промыслила регулятивную идею мира для международного сообщества, сопрягая практику обменов и торговли (*usus commerciorum*) с суверенной волей государств, теперь миру удастся выразиться – если пользоваться словами, обязательными для *Peace Research* – только *в* войне и *через* логику-логику войны. Аргументация от «чрезвычайного положения» – чтобы заменить международное соотношение сил унитарной мировой властью. Война как поддержание мира, *как полицейская охрана мира...* Отличие, принимая во внимание основополагающий миф политики эпохи модерна, проявляется в переорачивании отношений между Войной и Миром. *Война и мир*: избавленный от секуляризованной утопии *Respublica christiana*, мир теперь является «решением» войны, построенном на (относительном) равновесии сил или на «разумной» гегемонии (ценой войны) – мир является процедурным условием, неотъемлемым от ведения войны, основанной на *различии между другом и врагом*. В этом контексте, который следует назвать *непрозрачностью*, Империю одушевляет шмиттовский децизионизм, пошатнувший производство суверенности. Последнее утверждение пустоты имперской истины, привитой к теологическим аналогиям реальности государства, – понятие политики (*politique*) годится теперь лишь для того, чтобы суверенитет и решение совпадали в ней в некоей имперской мегало-политике, ось которой вращает *весь мир, totus orbis*, вокруг суверенной власти, каковая *непрерывно* выносит решения о «чрезвычайном положении». (Согласно знаменитой фразе, открывающей «Политическую теологию I» Карла Шмитта, “*Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet*”: Суверен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении). Итак, мы остережемся иронизировать об *Оси зла* (или о Божьем Суде) и рассмотрим гипермодернистичность ситуации, отмечающей полное смещение по отношению к гегемонической модели *pax romana* в том виде, как его можно обнаружить даже в наставлении “*Si vis*

pacem, para bellum”. Речь больше не идет о том, чтобы готовить войну ради установления мира (следуя принципу устрашения), но о том, чтобы установить мир в войне как функции *непрерывного разрушения* (этой инверсии «прогрессистского» теологического сценария *непрерывного созидания*), сведя суверенитет к *дисбалансу террора*. Можно ли сказать, что Мир может стать постмодерным названием Войны? *Проектом превращения войны в мир в непрерывную, проектом непрерывной глобальной войны.*

5

Когда современная литература берется за проблему войны, она всегда выводит на сцену тот момент, когда персонаж обнаруживает свое одиночество на поле боя. Гриммельсгаузен, Толстой, Стендаль, Селин или Хемингуэй показывают этого человека чудесным образом невредимым или тяжело раненным, ошеломленным «шумом и яростью», а еще больше – ошеломленным тем, что луна и солнце могут по-прежнему светить. Возвращение к миру есть естественное восстановление чувственного представления *мира, эстетическое* восстановление некоего *бытия-вовне*. Вопрос вскоре становится таким: можем ли мы еще иметь *внутренний* подход к миру, если постмодерн означает ан-эстезию перевернутой в пустоту жизни, скорбь по нашему сродству с пространственно-временной плазмой и ее обобщенное превращение в товар, обустройство *мира* как театра военных действий ради *тотальной войны*, имеющей целью *тотальный мир*? Как уклониться от *немирного (l'immonde)* войны, целью каковой является окончательная победа «глобальной безопасности»? Достигнет ли сам мир своего нигилистического возраста, подчинившись царству «гуманитарного», столь же чудовищного, как война (согласно формулировке, предложенной Рансьером: «категория *гуманитарного* как дублет *Realpolitik* государств»)? Где найти мир, если не *после войны*, когда гражданское устрашение, осуществляемое постдемократией, сменит «антигородскую стратегию» устрашения ядерного? Остается ли что-либо еще, кроме как дожидаться чего-то непредвиденного – разумеется, нового монстра, – чтобы освободить нас от повседневной нищеты этого телеуправляемого мира и этой телеуправляемой войны в башнях нового имперского порядка? Если уже невозможно ни вообразить, ни описать поле боя после побоища, то больше нет и удивления о том, что еще остаешься живым или *ощущаешь себя живым* на грани смерти.

«Онисделалипустынюиназвалиеемиром», – писалТацит. А до него – Фукидид. Историки – это поэты-гиперреалисты. Они не испытывают никакого стеснения, рассматривая грубую силу в качестве рычага политического порядка. Под лозунгом чистого наблюдения модальностей политического в его исторической реальности, Макиавелли скрупулезно описывает военные действия и войны, задуманные с тем, чтобы навязать мир силой оружия. Это надо понимать как мир, *завоеванный* оружием, символизирующий *virtù* * народа, сплоченного в политическом утверждении своей (репрезентированной) власти. Мир открывает здесь свою преходящую ценность, которую лишь война может «реализовать» как вектор общей системы отношений сил, чья *истина* отрицает всякое, кроме *формального*, различие между временем мира и временем войны. Чтобы не низринуть покой в праздность и в беспорядок, приводящий к разорению государство, забывающее о непрерывности войны, Государь «не может основываться на том, что он видит в мирное время» («Государь», IX). Ибо тогда Государь попался бы в опаснейшую западню: *любовь к миру – тогда как ему вместе со всеми его подданными следует прожить мир с мыслью о войне*. Здесь реализм и цинизм объединяются в дискурсе, отождествляющем войну с условием истины всякого политического порядка. Однако имеет ли смысл утверждение, в «римском» духе, Макиавелли, согласно которому война творит порядок, – в *мире*, столь мало «гражданском» по духу, как наш? Станет ли он, в свою очередь, лишь обманкой, используемой чрезвычайным положением коммуникации без коммуальности? Геостратегическая реальность воинствующего иллюзионизма *пентагон-капитализма* – как называет его Вирилио – делает любую дополнительную риторику излишней. Отныне война, мир и варварство взаимодействуют в одной и той же истории без каких-либо других правил, кроме *здравого смысла* немирного. Великие пацифизмы – идет ли речь о христианском пацифизме или о пацифизме коммунистическом – понимали войну как жертвоприношение ради построения мира: следовательно, необходимо воевать с мыслью и желанием мира, «дабы победой подвести врага к выгодам мира» (бл. Августин, Письмо 189 к графу Бонифацио*). С этой «либеральной» идеей мира как цели войны и войны как средства, необходимого для мира – «Должно хотеть мира и заниматься войной лишь по необходимости [...] чтобы добиваться мира.

Итак, будьте миролюбивыми, даже сражаясь...» (*ibid.*), – с этой идеей, которую можно понять лишь в примиренной (в Боге или в Человечестве) истине универсального субъекта, пацифизму больше не удастся воплотить действенность какого-либо проекта мира. *Мир и война*: пацифизм теперь не может пользоваться никакой хронологией или телеологией, способной привести нас от войны к *сепаратному миру*. Теперь мы не в силах желать мира, если тот не является ностальгическим; сопротивление войне как машине, учреждающей новый порядок, выражается так: «*война войне*». Или, точнее говоря, *Бой против Войны* – в том смысле, в каком Делёз противопоставляет *войну* как волю к господству, основанному на системе Суждения, Суда («суд Божий, превращающий разрушение в нечто «справедливое»»), *бою*, мобилизующему силы против властей господства¹.

7

Что означают «воля к искусству» и производство эстетических актов» в этой всемирной гибридизации войны и мира? Куда вписать искусство, если новые конфигурации опыта не встраиваются *ни на одной, ни на другой стороне*? Что означает «война войне», Бой против Войны для современного художника, противостоящего убогой драматургии мысли скорби и разочарованности? Очевидно, эстетическая потенция чувствования больше не может основываться на чем либо ином, как на *выражении неразличности*, ответственном за все насилие эпохи спектакля и ее непостижимой длительности. Итак, художник должен принять абсолютный гибрид, это погружение в настоящее, в котором в конце концов утопает автономия искусства, тогда как гетерономия его жизненных сил поражается. Обживая сферу чистых средств и принимая на себя сингулярное, художник избегает фантазмагории мира и войны, начиная выявлять их общие метины на теле вещей. Захватывая эту непрозрачную зону неразличимого, художник присваивает себе экспроприированный режим политики в Бою против Войны, который разрушает систему чувственных очевидностей ложного социального мира. Именно здесь, возможно, первопричина социальной опасности современного искусства: оно обрушивается непосредственно на подразделение идентичностей, управляющее политическими импликациями отношений между высказываемым и видимым,

¹ G. Deleuze, «Pour en finir avec le jugement» [«Чтобы покончить с суждением»], in *Critique et clinique*, 1993.

кажимостью, бытием и деланием. А это невозможно *сделать* «*взаправду*», т. е. вне академического опосредования, без того, чтобы не расположиться в «свершении» того, что необходимо до-казать, чтобы перевернуть – следовательно, не располагаясь, не размещаясь *в* и «*после*» прохождения жизни сквозь испытание нигилизмом» (Агамбен). Эта топика, реагирующая на медиатический гегемонический режим образа через расширение понятия «произведение искусства», определяет *отличие* художника в его усилении вырвать из выражения немирного – посредством хаосмического погружения в материи ощущения – построение некоего вновь возможного мира. Для современного режима существования искусств характерно то, что опыт возможного как эстетическая категория мира лишь постольку может стать *произведением* – посредством *материального* избавления от коллективного немирного, – поскольку *праздность* (*désœuvrement*) *сообщества* опрокидывается в очаг процессуального оживления, активирующего произвольные сингулярности», какими являемся мы-*сообща*, вне какой бы то ни было репрезентативной идентичности. Предъявлять эту позицию, которую уже невозможно сообщая репрезентировать в эстетическом предвосхищении некоего коммунистического будущего, самому идти на разрыв в чувственном при засвечивании (*surexposition*) мира войной – такова новая *направленность* искусства, вычерчивающего свое отличие в общественной машине из противоречия (*altérité*) войне, которая уже не может поддерживать себя никакой памятью о некогда существовавшем мире. (Невозможность помыслить «факт» мира как «свободу»: мир более не наличествует как *существование* (*existence*) на «фронте войны» против медиатического образа мира.)

8

В этом мире, предоставленном коммуникации слепой фактичности, художник или «не-художник» («*anartiste*») выдвигает – *т. е.* постулирует в имманентности этого мира «без-внешнего-и-внутреннего» – *исход* (*l'exode*) как единственное *возможное* творческое событие. Исход из повиновения регламентации высказываемых и видимых идентичностей, изгнание в чрезмерность, открытую посредством смешения априорных форм войны и мира, который вовлекает нас в бой. *Ибо Исход, Разрыв* (*Sécession*) *и Бой против войны суть одно и то же, и происходит это не где-либо в другом месте, но именно здесь,*

при условии полной детерриториализации, принимающей решения о сообщем (*соттин*) телесе. Беженец не избежит спектакля рынка, не обратив аннигилирующую мощь против государства, заправляющего нигилизмом; беженец не дезертирует с войны, не обрушившись на видимость мира – ради сообщих пространств и новых организаций сотрудничества. Переворачивая мессианское смещение из «других мест» «сюда», чтобы здесь и создать новые подвижность и темпоральность, Исход является именем превращения ценностей сопротивления в мощность, учреждающую некую по-иному постмодерную биополитику. *Спасаться бегством, идти на разрыв* – означает разрушать все трансцендентальные барьеры, которые наделяют смыслом логику руководства политической репрезентацией, чтобы переприсвоить себе «глобальную» подвижность; *спасаться бегством, формируя*, – означает вкладываться в *порождение* (*génération*) против *коррупции*, противопоставлять космополитические гибридации мира жизни – полицейской гибридации мира в войне. Впадая в свойственную ей чрезмерность, сингулярность искусства учит нас, что продукт порождения всегда является «монстром», содержащим в себе «сообщее» (тела, языки-события и машины) в биополитике Исхода и Разрыва.

9

Бой против Войны: мир (*paix*) больше не является условием жизни, мир должен переизобретаться в Исходе из мира (*monde*) без Бога, каковой Исход должен предпринимать и «город людей», *Cidade dos Homens*, чтобы выйти из немирного. В отсутствие мира, который задавал бы *этнос* мира, Исход является боем, партизанской войной и сотворением мира *ex nihilo*. Мир, который следует изобретать в качестве выхода из нигилизма, в качестве глобального диспозитива, творящего смысл локально – как *фактический* смысл экософии множественностей, что задает ставки дифференциальной идеи сообщего и метаморфных порождений его мира. Противоположность утопии: открытая и тотальная дезутопия Боя против Войны. Долгая, сложная, воинственная работа: мир так же, как и произведение искусства, теперь не является интуицией; мир, как и искусство, представляет собой схватывание сил в становлении, обогащающем то, чем он овладевает (в противоположность насильственному умиротворению: «бес-сильный мир подобен смерти», – пишет Мари Жозе Мондзен). Отсюда получается, что мир невозможно помыслить, не пройдя

через войну, с каковой мир борется, чтобы уничтожить нужду, подпитывающуюся войной, и утвердить силы жизни, восстающие из резервов насилия. Исход являет собой открытие этого пути, который может привести к стоическому «спокойствию души», только создавая произведение, *произведение мира*, сверстывания человеческого хаоса (опять аналогия между производением мира и производением искусства, которое само по себе не держится, если не собирает в себе хаосмос сил). Исход, для которого не существует ни «по ту сторону», ни «в другом месте» некоего мира без внешнего. И так, исход *из мира* (*monde*) как коллективное созидание бытия, как *живой труд в мире и мондиализация живого труда*, направленная против трансцендентального господства «мертвого труда», восполняемого только в войне, что предстает первым условием (для учреждения полиции (*police*)ⁱ права) и последней стадией государственной формы (с выведением глобальной суверенной полиции за пределы права). Исход представляет собой преобразование страстей в *vita activa* познания, когда последнее разворачивает свой порождающий потенциал как безмерное сотрудничество (*coopération*) – безмерное по отношению к любой политической мысли о мере и единстве, по отношению к трансцендентальной иллюзии сообщества. Стало быть, с точки зрения радикального материализма, не мир, но конституирующее сингулярные множества сотрудничество создает сообщество существование мира – в виде *неорганического сообщества, сообщества производящего, детерриториализованного и детерриториализующего*, каковое необходимо мыслить как *онтологически предшествующее и превосходящее* по отношению к трансцендентальному различению между войной и миром, о чем «принимает решение» суверенная власть. Доказательство располагается на стороне времени: именно вопреки ему власть «принимает решение» о чудовищной гибридации войны и мира, отмечая окончательное отождествление суверенитета с полицией. Следствие на стороне бытия: задача *предоставления* условий жизни, с какими увязывалось бы имя этики, становится для мира чрезмерной. Связанная с реальностью сложения и разложения отношений, этика является оперативной изнанкой, асимметрией ситуации «мир-война», как «боя с Собой, [...] между силами, которые поработают или являются поработанными; между мощностями, выражающими эти отношения силы» (Делёз); ускорение атомов и борьба страстей, кристалли-

ⁱ [*police*, в отличие от *politique*, – политика, навязываемая государством, а не политика как свободная игра сил – прим. пер.]

зация различий в множественном хаосе сингулярностей и выделение новых мощностей, что формируют неразрывным образом аффективные и продуктивные конstellации через склонение (*inclination*) различий. Не бывает этики без этого *клинамена*, который ориентирует материю сообщего на Исход как конструктивистскую транзитивность мира. Но также не бывает эстетики без решения «проявить реальную связь существований как их реальный смысл» (Нанси). Здесь не является невозможным – подобно Феликсу Гваттари – обратиться к «новой *трансверсалистской* этической парадигме», основанной на социальном творчестве и напоминающей, что искусство – это *вигиламбула** процесса, конфронтирующего с Войной (вместо того, чтобы бежать от нее в иллюзорный мир), чтобы освободить Жизнь, ставшую пленницей своих репрезентаций. Произведение искусства есть жизненное превращение условий смерти, которые всем нам в общем навязаны; потенциализация сообщего (*commun*) в *телеологии освобождения*, каковое является творческой манипуляцией аффектами, интенсивности которых несводимо сингулярны и множественны (*plurielles*).

10

Против *отрицателей* современного искусства: если искусство есть та коллективная проекция, которая *показывает*, что война бессильна по отношению к сингулярным построениям мира, которые она стремится разрушить; то современное искусство, с самого начала и на указанном ему (вследствие избытка или недостатка) не-месте, средствами «инсталляций» и выразительных машин, которыми оно себя оснащает, должно *продемонстрировать*, что мир может быть переизобретен, а именно как биополитическое условие жизни, как сообщее и объединяющее сопротивление, в мультимедийной конstellации тел, от *Эпоха* до *General Intellect* множественностей (*multitudes*).ⁱ

ⁱ (Опять-таки, относительно этих множественностей: следует утверждать, что насилие над ощущениями, что самая насильственная деконструкция осязаемого, содержащиеся в «основе-поверхности» («*support-surface*») этого реального искусства, не служат основанием для возражения против этого доказательства).

Примечания:

[1] Написанный в апреле 2002 г. текст Т. Негри и Э. Аллье «Мир и война» был рекомендован в рамках выставки Frieden Weltwärts («Мир миру»), организованной Элизабет фон Самсонов по просьбе Австрийского учебного центра «Мир и разрешение конфликтов» и Европейского музея мира (замок Шлайнинг, 4 мая – 31 октября 2002 г.). В своей современной части выставка представляла произведения Джеймса Тьюрелла (США), Биргит Юргенсен (Австрия), Таля Адлера (Израиль), Дьюлы Фодора (Венгрия), Бенедикта Шифера (Германия). Текст был проецирован (в английском и немецком переводе) в выставочном зале и впоследствии выпущен отдельным изданием. [См. также его немецкоязычную публикацию в книжном издании: Woerterbuch des Krieges/ Dictionary of War. Merve Verlag, Berlin 2008. S. 137-150].

Интернет-публикации текста ([http://multitudes.samizdat.net/Paix et guerre](http://multitudes.samizdat.net/Paix_et_guerre)) предшествует следующее введение (Art Against Empire (On Alliez & Negri's "Peace and War")): «Аллье и Негри исходят из констатации того, что глобальная война утверждается как власть имперского порядка, только делая непрозрачными всевозможные регулятивные идеи мира, который сводится к обманчивой иллюзии. Безусловно совпадая по времени с войной, «постмодерный» мир выводится из нее как «постдемократический» институт постоянного чрезвычайного положения, как продолжение войны другими средствами (как во внешнем, так и во внутреннем измерении), как сведение суверенитета к дисбалансу террора, согласно принципу различия между другом и врагом. Коль скоро война, мир и варварство взаимодействуют при отсутствии иного правила, нежели здравый смысл Немірного (Immonde)*, существует лишь Битва, Бой (Combat) против Войны – чтобы разрушить систему очевидностей ложного социального мира и открыться для построения некоего нового Мира (Monde)*, возможного для каких-угодно сингулярностей, которые мы являем сообща. Отсюда – характер социальной опасности, свойственный современному искусству (и судебные процессы, объектом которых оно становится), когда оно обрушивается на медиатический образ мира (monde), задействуя «новую трансверсальную эстетическую парадигму», которая червато разрывами чувственного при засвечивании мира (paix) войной. Такова могла бы быть новая направленность искусства, которое вычерчивало бы свое различие в творческой манипуляции аффектами, каковая больше не могла бы поддерживать себя никакой памятью о мирном бытии».

Перевод с фр. О. Никифорова при участии Б. Скуратова по изданию: Negri, Toni / Alliez, Eric Paix et guerre ([http://multitudes.samizdat.net/Paix et guerre](http://multitudes.samizdat.net/Paix_et_guerre)).

Погода

Дитмар Дат

Нет ничего нового под солнцем. Грязь и досада остаются верными себе на протяжении тысячелетий, гордых *нефилим** утопил всемирный потоп, завоевателям островного мира англосаксов пришлось сражаться со слякотью, а Наполеон застрял в снегах, в знак благодарности за то, что своим походом в Россию он подарил материал для романа господину Толстому. Даже современная военная техника в климатических и атмосферных условиях, в каких она применялась, на протяжении долгого времени была мало на что способна. Восемьдесят процентов воздушных налетов в 1945 г. происходили при погоде в диапазоне от скверной до собачьей. Правда, из-за всего этого особенно сочувствовать господам в кольчуге, доспехах или мундире не следовало бы, ведь, в конечном итоге, и у нас, штатских, дела обстоят не лучше; и в большинстве случаев у нас пока нет даже рабочего места, которое было бы столь стабильным, каким постепенно становится «рабочее место» профессионального солдата. Чем больше соответствующие уполномоченные требуют безопасности (а сегодня они это делают все громче), тем стабильнее становятся рабочие места военных. Везде все зависит от дозы. Небольшой дождь освежает, дождь средней интенсивности благоприятствует урожаю, однако из-за чрезмерного ливня реки выходят из берегов, прорывая плотины – и коровы мычат, зовя на помощь. Если последить за политическими дебатами последних лет, особенно здесь, в Германии, то погода разделяет упомянутое свойство с воздушным бомбометанием; если слишком много и не вовремя – плохо, если же в подходящий момент, в нужном месте и с соразмерной силой – благодать. Один толковый человек по имени Иоахим Брун, вообразив себя временно исполняющим обязанности ответственного за многие из этих явлений, написал, что хотя, к сожалению, и верно, что Американская армия в свое время не сбросила ни одной бомбы на железную дорогу, ведущую в Освенцим, но все-таки британский флот авианосцев – цитирую Бруна – «воссоздал минимальные условия для социальной революции в Германии».

В апреле 2002 г., спустя несколько месяцев после атак 11 сентября, на эти рассуждения прореагировал журнал “Wildcat”: «После Второй мировой войны, в отличие от лет, последовавших за Первой мировой войной, до революционного подъема дело не дошло. Это объясняется не только ролью Советского Союза при разоружении и интеграции европейского партизанского движения в международную систему государств, но и непосредственно военными действиями союзников. Ведь они были нацелены на то, чтобы эти движения не переросли в социальные бунты. Так, в Италии медленное продвижение союзников играло на руку истреблению партизан, в Греции революционное движение было подавлено резней, и на фоне этого замиренного тыла тем легче оказалось потопить в крови антиколониальные восстания». Против этой аргументации выдвигалось возражение, что немцы, в противоположность, например, французам, англоамериканцам и русским, даже без ковровых бомбардировок, не имели такого уж опыта самостоятельного свержения правительства. В какой степени проводившиеся союзниками бомбардировки фактически должны были послужить тому, чтобы в обозримом будущем избавить Центральную Европу от социальных проблем – вопрос, в любом случае достойный монографии, однако чтобы всерьез подойти к рассмотрению этой цели (если такая возникнет), необходимо, прежде всего, решить техническую проблему. А именно – найти золотую середину между погодой, которая была бы достаточно плохой и по возможности затрудняла немецкой противовоздушной обороне сбивание бомбардировщиков, и погодой, которая была бы слишком плохой и мешала бомбардировщикам успешно выполнять боевое задание. Для выполнения боевых задач был изобретен прибор под названием H2X, так называемый *airborne ground tracking radar**, система «ощупывания» земли, каковой оснащались самолеты. Невзирая на облака, пелену дождя или мрак, этот аппарат должен был обеспечивать улавливание целей, которые впоследствии должны были подвергаться прецизионным бомбардировкам (они тогда еще не назывались ни «хирургическими», ни «интеллигентными»). Однако только «отделение воды от тверди земной»*, увы, еще обеспечивало работу аппарата, и когда его, наконец, удавалось задействовать, точность попадания – разочаровывающим образом – уменьшалась, а не увеличивалась. Подсчитали, что область, которую пришлось бы забросать смертоносными разрывными снарядами, полагаясь исключительно на данные H2X и все-таки каждый раз стремясь к стопроцентным попаданиям,

была бы в десятки тысяч раз больше реальных географических целей – а тогда понятие побочного ущерба толковалось бы все-таки слишком уж широко. Парадоксальным образом зависимость от хороших погодных условий увеличивается в случае близости к земле. Ведь и при штормовом приливе лучше спастись на деревьях, нежели непосредственно на суше. Поскольку при использовании сухопутных войск, пехотных дивизий и прочих разновидностей пеших завоевателей и оккупантов, кроме прочего, потери нападающей стороны скачкообразно увеличиваются, – то, кажется, цель высвобождения военного насилия из под гнета сил природы, диктует спецкадрами, ее преследующим, необходимость перемещения стратегического оперативного базирования из мест убийства в места старта и запуска, надзора и координации. Императив, коему стали следовать столь многие, что об операции *Desert Storm**, о войне против Саддама Хусейна в связи с его попыткой аннексии Кувейта в 1991 г., американские военные писатели Джордж и Мереди Фридманы, имея в виду роль *DSCS – US Defense Satellite Communications System**, могли писать следующее: “If the Iraqis would have destroyed that system most of the alley advantage would have disappeared. For the first time in history the center of gravity of a military operation was located outside of the earth atmosphere”.ⁱ

Граница между метеоспутниками и спутниками-шпионами является зыбкой; как бы там ни было, последние используют не только обычный свет и технику видения в инфракрасном диапазоне, но и всевозможные области электромагнитного спектра. Попытаться перехитрить погоду такими средствами, которые и сами, правда, не свободны от подверженности помехам (в космосе тоже случаются бури, дожди солнечных частиц и т. п.) – один из возможных выборов. Самим определять погоду здесь и теперь – другой, гораздо более сложный. То, что военные в существенном для ведения психологической войны метафорическом смысле могут и хотят создавать дурную погоду, знают, например, жители Вьетнама, которым с февраля 1965 г. пришлось пережить беспримерный бомбовый «боевой поход», обозначенный кодовым названием *Operation Rolling Thunder**. Однако фактическое господство над погодой на земле, возможно, достижимо куда более сложными средствами, чем то «землеформирование» (“terraforming”), с начала 1930-х гг. запускаемое в оборот научной

ⁱ “Если бы иракцы разрушили эту систему, то львиная доля преимущества союзников исчезла бы. Впервые в истории центр тяжести военной операции находился за пределами земной атмосферы”.

фантастикой Олафа Стэплтона*, что должно было приближать погодные условия в необитаемых мирах к земным. Производить погоду там, где ее нет, технически легче, нежели воздействовать на ту, которая есть. Чтобы рассчитывать жидкостную динамику и термодинамику – в атмосфере и океане, от потоков ветра и глубоководных морских течений до тончайшей диффузии молекул – недостаточно *sheer number-crunching power** пусть даже мощнейших из известных компьютерных систем. Ведь этот прибор совершенно нелинейный, изобилует шумовыми факторами – ерунда, да и только! И все-таки даже среди более или менее естественнонаучно образованных людей уже длительное время ходят дичайшие слухи о том, какой успех могут иметь возможности воздействия на погоду и управления ею в военной науке и технике. Ходят слухи, будто *High Frequency Auroral Research Project**, построенная на Аляске при поддержке американских военных и с финансовыми вливаниями с их стороны станция микроволновых антенн, которая официально должна служить лишь исследованиям ионосферы, также может быть задействована и для изменения погоды. И о *Chemtrails** иногда приходится читать, будто это химические инверсионные следы для влияния на погоду на высоте около 6 000 метров. Все это есть в Интернете, наряду с *X-файлами* и сборниками заклинаний.

Поскольку сегодня – при всех прочих догадках о том, чем ныне занимаются государства в промежутках между усовершенствованием атомной бомбы и строительством пыточных тюрем – не сразу можно обнаружить, что из этих рассказней соответствует действительности, то мы, вероятно, должны задать вопрос о том, почему эти догадки возникают вообще – а ведь это происходит даже тогда, когда они не соответствуют действительности. Если позволите выразиться образно, то, по-моему, речь здесь идет о чем-то атмосферическом, об очень старой связи нечто технически и пространственно отстраненного с тем, что принимается за истинное и достойное веры. О религии предполагают, будто наши пращурьы придумали ее, чтобы быть в состоянии воздействовать на погоду и другие явления, на которые они не могли воздействовать, несмотря на уже начавшиеся социализацию, разделение труда, координацию и прочее, – или чтобы хотя бы объяснить их. Отсюда многочисленные боги и богини грома, плодородия, дождя, ветра, солнца и луны, молнии Зевса, локализация божеств в небесах или на неприступных горных вершинах; а также тот факт, что в одной из древнейших частей еврейской Библии, в книге Иова, на текстовом уровне повествования,

равно как и спора, тематизирующей отношение Творца к своему творению, о Господе всегда говорится, что он обращается к рабу своему Иову «из грозы и бури», – вот он, *Rolling Thunder*. Все эти и легко обнаруживаемые прочие свидетельства говорят в пользу того, что первый сверхъестественный голос, коему люди повиновались, был фактически голосом грома. Лично я несколько сожалею, что мы не можем спросить изобретателей религиозных мифов и догм о том, что они думали при их создании, – так как теория, что речь при этом шла исключительно о том, чтобы представить частотность дождей, смену климатов, приливы и отливы и пр. в некоей могущей стать предметом традиции понятийной и нарративной связи, мне представляется несколько грубоватой. В своих наблюдениях эти люди, вероятно, были не более неумелыми, чем мы, при том что связанные с засухой или потопом катастрофы отнюдь не столь таинственны, чтобы непременно приходилось выстраивать по этому поводу какую-то метафизику. Я, скорее, склонен предполагать, что речь тут идет об оправдании и обосновании, а не об объяснении, и о социальной, а не о природной, ситуации. Ведь к законам патриархального наследственного права, повелениям советов старейшин или почитанию шаманов – пока эти явления еще новы и не поддерживаемы авторитетом поколений, обычая или иллюстрированной газеты – без воззвания к дождю, снегу или солнцу приучить людей труднее. Конечно, следует согласиться с учеными в том, что сверхъестественные истории и учения занимали вещи, которые могли и могут управлять жизнью людей, наносить ей ущерб, даже уничтожать ее, при том что люди как были, так и остаются бессильными как-либо повлиять на них, – но также дело обстоит и с общественными обстоятельствами. Имеем мы дело с торнадо или с кастовой системой – какая разница, если на жизни ставится крест. Поэтому здесь, например, Маркс и Энгельс регулярно и вполне правомерно попросту сваливают в одну кучу природу и общество, и даже о самой скверной, застойной и зловещей общественной ситуации они не могут сказать ничего худшего, чем то, что она возникла «естественным образом», нависнув над нами, подобно року.

Я полагаю, что мы делаем нечто подобное тому, что делали первые жрецы. Мы рассказываем друг другу истории и выдумываем терминологию, чтобы по меньшей мере не выглядеть совсем уж глупо перед лицом исторического процесса, касающегося нас столь же непосредственно, как первых оседлых людей касался вопрос урожая, и на который мы можем влиять столь же мало, как первые земледельцы на бурю. В той мере, в какой дело касается

левых в метрополиях, их способности препятствовать войнам последних пятнадцати и грядущих тридцати лет, то можно сказать, что эти войны вполне можно счесть за моменты изменения климата: кое-что в них пока еще, вероятно, как-то опосредованно людьми определяется – ведь оплачиваемые эксперты еще продолжают о чем-то дискутировать, – но в любом случае сами они ими не управляются. А понятие гуманитарной катастрофы уже указывает в том направлении, что, вероятно, обеспечит удлинение сводок погоды за счет сообщений военных корреспондентов.

В 80-е годы дела обстояли очень похоже – хоть не с войнами, но с угрозой войны, правда, атомной, – когда люди в массовом порядке завертывались в саваны и укладывались на землю перед церквями, своей пантомимой предвосхищая массовую гибель, что, вероятно, во что, однако, верилось мало, могло подвинуть власть имущих к размышлению и принятию мер – подобно тому, как божество могло бы прореагировать на молитвы о заступничестве, воскурение фимиамов или человеческие жертвоприношения. Но все-таки новые понятия и лозунги той эпохи: «разоружение на Востоке и Западе», «перекуем мечи на орала», «за свободу от насилия», «гражданское неповиновение» – появились не только для того, чтобы – помимо расширения возможностей собственного влияния – дать происходящему какой-то образец, внутреннюю рациональность, схему для заучивания и пересказывания; эти понятия и лозунги также имели узнаваемые тактические цели. То, что под лозунгом «разоружение на Востоке и Западе» могло и должно было привести антикоммунистов в пацифистскую лодку – могло и должно было привести туда христиан под лозунгом о «мечах», боязливых людей – под лозунгом «свобода от насилия», либералов и студентов политологии – под лозунгом «гражданское неповиновение». Конечно, в этом движении многое было ужасным и в долгосрочном измерении, вероятно, вредным – не в последнюю очередь, проистекающая от пристрастия к народным фронтам, любви и массовым сборищам склонность систематически деполитизировать важнейшие политические вещи, чтобы сделать их удобоваримыми для и так уже основательно деполитизированных масс. Но целью этого движения все-таки было привлечение на свою сторону того, что в парламентских делах всегда имеет красивое название стабильного большинства. Работа этого движения над партиями и лозунгами служила координации действий, сколачиванию коалиций. То, что дело пацифизма тогда принималось всерьез его порою разумными, но порою, скорее, сентименталь-

ными поборниками и поборницами и осуществлялось с соответствующей сноровкой, ретроспективно мы видим по тому, что оно удовлетворяло решающему критерию, без операционализации которого никакие политические инициативы против военных планов каких угодно правительств не имеют ни малейших шансов на успех: делу пацифизма удалось, по крайней мере временно, достучаться даже до солдат*. Существовали инициативы критически настроенных военных против довооружения; был также один отставной генерал – пусть и немного странный, но он все-таки приходил к складам боеприпасов и произносил там хорошие речи в поддержку зеленых. Движение против насилия в мире, рекрутирующее свои кадры лишь из безоружных людей, не имеет ни малейших шансов на успех. А всякий успешный переворот обращается к молодым и старым солдатам и полицейским обоих полов, спрашивая их: «Будешь ли ты исполнителем чужих интересов, не имеющих к тебе отношения, или все-таки откажешься от следования приказам?» Не только для Соединенных Штатах Америки обычны военные карьеры, которые, не достигая ничего особенного в командной иерархии, так или иначе оседают в могилах – зачастую с пониманием того, что у людей, которые на такие карьеры решаются, других альтернатив по жизни и нет. Чем больше люди беднеют и нищают, тем больше аппарат насилия выстраивается с целью их внутреннего и внешнего подавления, и тем больше частью этого аппарата становятся именно те люди, кто и сами происходят из среды, против каковой направлено подавление. Я иногда задумываюсь о том, чтобы так конструировать наши понятия и так вести нашу беседу (хотя не знаю, как это должно происходить), чтобы они могли достигать этих людей хотя бы потенциально. Произойдет ли это реально – в любом случае не зависит от наших заслуг: мы не авангард и не волшебники, в нас вообще нет ничего особенного, мы только одна из групп униженных и оскорбленных, прочитавших кое-какие книги, – и вот перед нами задача. Если мы не сможем к ней подготовиться и скоординировать наши действия – то, что мы делаем, возможно, и станет громом, но всего лишь театральным, а не тем, который мы слышим, когда на нас с грохотом обрушиваются небеса.ⁱ

ⁱ Перевод с нем. Б. Скуратова и О. Никифорова по изданию: Woerterbuch des Krieges/ Dictionary of War. Berlin 2008. S. 306-314.